

С.Н.Сергеев-Ценский

Севастопольская страда

часть VII

Глава первая. Два праздника

Глава вторая. В стане интервентов

Глава третья. Ночь на кладбище

Глава четвертая. Разгром Керчи

Глава пятая. Витя и Варя

Глава шестая. «Три отрока»

Глава седьмая. Пирогов уезжает

Глава восьмая. Штурм Севастополя

Глава первая. Два праздника

I

Чудовищно быстро двигались жуткие всеразрушающие чугунные тучи над головой, — тучи из десятков тысяч снарядов... Раз за разом здесь и повсюду лопались бомбы, разрывая на мелкие куски человеческие тела... Те же упругие, упрямые, упрятанные в траншеи тела вздымались вдруг высоко в воздух и, падая, разбивались о жестоко развороченную взрывами минных горнов скалистую землю бастиона... Миллионы пуль пели, как пчелы на огромном пчельнике, которых перестает уже отмечать ухо: они сплошь... Ревели осадные тринадцатидюймовые пушки и мортиры, переплавляя этим ревом все людские ощущения и мысли неузнаваемо и надолго: ведь люди и сами не знали о себе самих, что могут они вынести этот ад, но вот вынесли, однако ценою какого страшного напряжения нервов!..

И когда стало, наконец, тихо вдруг после одиннадцатидневной канонады, совсем тихо, настолько тихо, что можно уж стало считать выстрелы свои и чужие, пришли награды из Петербурга... Награды тем, кто остался в живых.

Эти награды, впрочем, отнюдь не касались подвигов, оказанных гарнизоном Севастополя в дни «страшного суда в большом виде». Они

были просто очередными наградами, приуроченными, как ежегодно, к первому дню пасхи.

Начальник севастопольского гарнизона, барон Остен-Сакен, был награжден графским титулом — стал, наконец, «сиятельством»; его начальник штаба, князь Васильчиков, произведен был в генерал-майоры, так же как и Тотлебен, а вице-адмирал Нахимов — в полные адмиралы.

И менее всех понимал смысл полученной им пасхальной награды именно он, Нахимов. Он даже ворчал недовольно, обедая со своими адъютантами:

— Ну, вот-с, изволь теперь эполеты менять!.. А где их тут прикажете достать-с у нас, в Севастополе-то, адмиральские эполеты-с?

Эти новые эполеты на свой знаменитый сюртук он так и не пытался искать — продолжал ходить в старых, вице-адмиральских; но адъютанты убедили его все-таки в том, что, по случаю производства в адмиралы, ему необходимо выпустить соответствующий приказ по гарнизону, хотя бы из тех соображений, чтобы обращались впредь к нему, именуя «высокопревосходительством».

— Очень длинно-с! — отозвался на это Нахимов. — «Высокопревосходительство» — длинно-с! Даже и для мирного времени, а не то что, как у нас тут... Потеря времени-с!.. Надо бы ввести как-нибудь покороче, полегче-с!.. Ну, что же делать, составьте приказ, я подпишу, напечатаем, разошлем... — обратился он к старшему из адъютантов.

Приказ составлялся, впрочем, не одним только старшим адъютантом: всем другим тоже хотелось вставить в него свое словечко; но когда он был принесен на подпись адмиралу, тот его не только решительно отверг, но даже как будто рассердился; по крайней мере усиленно зачмыхал носом и даже покраснел.

— Совсем не то-с!.. Совершенно не так-с! — отодвинул он от себя красивым почерком написанную бумагу. — Нужно и не о том и... и совсем иначе-с!.. Ну, где у вас тут матросы?..

И как ни казалась ему всякая вообще письменность трудным и противным делом, все-таки он уселся писать приказ сам.

Вот что у него вышло:

«Геройская защита Севастополя, в которой семья моряков принимает такое славное участие, была поводом к беспримерной милости монарха ко мне, как старшему в ней. Высочайшим приказом от 27 минувшего марта я произведен в адмиралы. Завидная участь иметь под своим начальством подчиненных, украшающих начальника своими доблестями, выпала на меня.

Я надеюсь, что гг. адмиралы, капитаны и офицеры дозvoлят мне здесь выразить искренность моей признательности сознанием, что, геройски отстаивая драгоценный для государя и России Севастополь, они доставили мне милость незаслуженную.

Матросы! Мне ли говорить вам о ваших подвигах на защиту родного нам Севастополя и флота! Я с юных лет был постоянно свидетелем ваших трудов и готовности умереть по первому приказанию; мы сдружились давно; я горжусь вами с детства!

Отстоим Севастополь, и, если богу и императору будет угодно, вы доставите мне случай носить мой флаг на грот-брам-стеннге с тою же честью, с какою я носил его, благодаря вам, и под другими клотиками. Вы оправдаете доверие и заботы о нас государя и генерал-адмирала и убедите врагов православия, что на бастионах Севастополя мы не забыли морского дела, а только укрепили одушевление и дисциплину, всегда украшавшие черноморских моряков».

Флаг полного адмирала был в те времена белый с андреевским крестом. Поднимался он на вершине главной мачты корабля грот-брам-стеннге под клотиком — деревянным кружком, в который вделываются шкивы для подъема и опускания тросами флагов и фонарей.

В приказе, обращенном к героям-морякам севастопольского гарнизона, Павел Степанович решил помечтать о временах лучших, когда, быть может, он, адмирал с огромными боевыми заслугами, будет водить по освобожденному русскому Черному морю возобновленный, возрожденный, могучий флот, способный отбить любое нападение врагов.

II

Нахимов не любил и не умел писать, и слог его был коряв, однако же

несколько взволнованно теплых, от сердца идущих фраз, обращенных им к матросам, прозвучали по экипажам гораздо более торжественно-празднично, чем все колокола уцелевших к пасхе колоколен Севастополя.

Черноморские моряки от вице-адмирала до последнего матроса знали, что Нахимов и после Синопской победы уклонился от всяких чествований, говоря, что совсем не он виновник победы, а экипажи кораблей его эскадры. Теперь они видели также, что он не праздновал у себя и повышения в чине, как им лично «незаслуженную милость» царя.

И вот получилось как-то так, что кем-то брошенная мысль была единодушно подхвачена всеми: если действительно, как сказано в приказе, матросы и офицеры флота явились виновниками того, что совсем еще недавний вице-адмирал Нахимов произведен в адмиралы, то они, значит, и будут праздновать это как свою награду.

Конечно, в пасхальном списке награжденных, пришедшем из Петербурга в Севастополь, много было моряков офицеров, и много крестов и серебряных медалей «за храбрость» прислано было для матросов всех экипажей, и одно это могло уже быть вполне достаточной причиной желавшим праздновать, тем более что настали как нельзя более подходящие для этого ласковые, устойчиво теплые весенние дни, перестрелка же значительно ослабела. Но, как всегда бывает при наградах, достаточно нашлось обойденных или только считавших себя обойденными, — между тем праздновать хотелось всем без исключения, и Черноморский флот от мала до велика пустился праздновать производство Павла Степановича в адмиралы.

Этот праздник не был приурочен к какому-нибудь одному определенному дню. Он рассыпался, раскатился, подобно шарикам ртути, по апрельским дням, начиная с двенадцатого числа, когда сделался известен во всех экипажах приказ Нахимова.

Это был длительный праздник в честь адмирала, который ежедневно запросто появлялся на бастионах, чтобы делать то здесь, то там обычное матросское дело — самому наводить орудия.

— Какой это к черту адмирал! — фыркая, говорили о нем столичные фертики, флигель-адъютанты. — Это какой-то неумытый матрос,

переодетый адмиралом!

Даже в Севастополе, в обществе тех, которые входили в свиту Меншикова, а после его отставки присосались к Горчакову, находились люди в чинах, которым претила эта простота, эта простонародность Нахимова, проявлявшаяся во всей его манере говорить и держаться, несмотря на его неизменный сюртук с вице-адмиральскими эполетами.

Но матросы, как и офицеры флота, очень хорошо знали, чем был для них Нахимов.

Когда генерал Веллингтон, командовавший английской армией во время борьбы Европы с Наполеоном I, посетил однажды в весьма ненастный день свои передовые позиции, солдаты сравнивали его появление с появлением солнца, которое сразу и обсушило, и обогрело их, и наполнило их бодростью и силой; в этот день, к вечеру, разыгралось сражение и они победили.

Нахимов был подобным солнцем повседневно. Бывший поэт парусов на глазах у всех превратился в поэта бастионов. Он был совершенно бесстрашен под пулями и ядрами. Однажды на четвертом бастионе он увидел незнакомого для себя молодого офицера.

— Как ваша фамилия? — спросил Нахимов.

— Бульмеринг, ваше превосходительство, — ответил тот.

— Кратчайшую дорогу на редут Шварца знаете?

— Так точно, ваше превосходительство!

— Прекрасно-с! Проводите-ка меня туда.

Бульмеринг направился за линию батарей; Нахимов сделал было несколько шагов вслед за ним, но, оглядевшись, остановился и закричал:

— Позвольте-с, молодой человек! Почему же вы меня ведете не по стенке-с?

— По стенке придется идти совершенно открыто, между тем как...

— Да вы знаете ли, кого вы взялись вести? — чрезвычайно удивился Нахимов, выкатив голубые глаза.

— Никак нет, ваше превосходительство, я только что переведен в Севастополь.

— Это другое дело-с! Тогда позвольте вам представиться: я —

Нахимов-с и по трущобам — не хожу-с! Извольте идти по стенке-с!

И пошел сам по линии батарей.

Этот случай и много других подобных были известны всем в Севастополе, и все знали, что для Нахимова было совершенно естественно ездить ли верхом, или ходить пешком по бастионам, не обращая ни малейшего внимания на смертельные опасности кругом, а спасительные траншеи и блиндажи называть «трущобами».

Он знал по фамилии матросов-комендоров на батареях — это были его особые любимцы, и, подходя к тому или иному из них, говорил он улыбаясь:

— А-а, жив-здоров? Ну, слава богу! Здравствуй, Сенько! (Или Ковальчук, или Грядко, или Катыев, или Редькин.)

— Здравия желаю, Павел Степаныч! — улыбаясь тоже, радостно гаркал матрос и в свою очередь осведомлялся: — Всё ли здорово?

— Ничего-ничего, братец, как видишь, — разводил руками Нахимов.

— Ну, дай боже, Павел Степаныч!

Не любил, когда новички-солдаты при его приближении, из почтения к его единственным в Севастополе генеральским эполетам, снимали фуражки. Махал на них и кричал:

— Надень, надень!.. Эка ведь пустяками какими головы набиты — вздорами-с!

Теперь, после приказа от 12 апреля, все флотские офицеры и матросы на равных с ними правах считали неотъемлемо необходимым поздравлять Нахимова с наградой — производством в полные адмиралы; и только когда удавалось поздравить торжественно и от сердца, приступали к празднеству — в блиндажах ли, или на городских квартирах.

Пили при этом сверхчеловечески, но пили за Севастополь, за Черноморский флот, за моряков на всех бастионах и за Павла Степановича Нахимова, «отца матросов».

III

Апрель был уже в полной красоте. Екатерининская улица со своими пышно развернувшимися большими деревьями — каштанами и белой акацией — казалась аллеей для гуляний, и на ней действительно

прогуливались по вечерам, а на бульваре Казарского снова, аккуратно с шести часов, начала греметь полковая музыка, как это было до бомбардировки.

Нахимову однажды вздумалось проехаться на Малахов именно в такой вечерне-отдыхающий час. Из шести своих флаг-офицеров он взял с собою только одного — лейтенанта Колтовского; переправился через Южную бухту по второму мосту, устроенному на бочках, про запас, и его же заботами.

Проезжая по Корабельной, он пустил своего серого шагом, чтобы получше рассмотреть, какие здесь произошли изменения за последний день, и Колтовской — сын вице-адмирала Балтийского флота, из товарищей Нахимова еще по первым годам его службы, — заметив его пристальные и зоркие взгляды влево и вправо, счел нужным отозваться на это весело:

— Все-таки как им ни накладывают в макушку, довольно еще осталось здесь совсем почти целых домишек!

— Ага! Вот-с... Именно-с!.. Не всякая пуля в лоб и не всякое ядро в дом-с, — качнул головой Нахимов, а Колтовской продолжал:

— Так что если бы вдруг завтра каким-нибудь чудом вышел конец осаде, то через месяц, не больше, починилась бы в лучшем виде Корабелка и зашумела бы не хуже прежнего!

— Она и теперь что-то очень шумит, — заметил Нахимов. — По убитому, что ли, вон там впереди толпа.

Колтовской присмотрелся и сказал тоном адъютанта, избалованного неизменным добродушием своего начальника:

— Есть толпа впереди, точно, Павел Степаныч, только, кажется, там отхватывают трепака в кругу, чего перед убитыми пока еще не позволяется делать, хотя все уж мы порядочно одичали.

Он улыбался — молодой, самоуверенный, несколько излишне горбоносый, что, впрочем, придавало решительность и законченность его слегка расплывчатому лицу, — а Нахимов спрашивал недоуменно:

— С какой же такой радости они расплясались вдруг, а?.. Смотрите-ка, ведь в самом деле, кажется, пляшут-с!

Но в толпе заметили адмирала, плясуны стали «смирно». Плясуны были матросы, и в кругу около них — матросы, матросские жены,

ребятишки. А когда поровнялся Нахимов с толпой, из нее вышла навстречу ему матросская сирота Даша — первозванная сестра милосердия, хотя и без золотого креста на голубой ленте, зато с серебряной медалью на аннинской, — поклонилась поясным поклоном и проговорила певуче:

— Ваше превосходительство, Павел Степаныч! Сговор у меня сегодня... Будьте такие ласковые, зайдите, не откажите хлеба-соли отпробовать!

— Сговор?

Нахимов вопросительно посмотрел на Колтовского: бывает так, что выпадает иногда из памяти слово, редко звучащее в жизни.

— Помолвка, так кажется, — подсказал Колтовской.

— А-а! Вот что-с! Замуж выходишь? — понял, наконец, Нахимов. — За кого? За матроса? Не разрешу-с!

— Только еще сговор пока, а уж замуж, как война кончится, — бойко ответила Даша. — Еще как обойдется, а то и жениха исхарчить может, да и меня тоже, — не страхованная.

— Это так... А с кем же у тебя сговор? С Кошкой? — заметил в толпе этого лихого матроса Нахимов.

Дружно засмеялись в ответ на это все, а громче всех сам Кошка, который был багрово-красен, так как порядочно успел уже выпить, но держался на ногах прочно.

— Ну, с Кошкой мне куда уж справиться, Павел Степаныч! — живо подхватила Даша. — Это только ведь говорится: «Жена да боится своего мужа», а думается: «Як він ее подужа!..» А уж на этого Кошку хо-ро-шую цепную собаку надо, — мне-то куда уж!

И опять все захохотали кругом, даже и ребятишки, а Даша проворно вытащила из толпы молодого еще матроса смиренного вида и представила:

— Вот он — мой жених! Тридцать пятого экипажа Подгрушный Лукьян.

— А-а! Ничего-с! Неплохо-с... Малый статный, собой красивый... Совет да любовь, — так, кажется, сказать надо-с?.. А вон кстати-с и французы вам на сговор букетик прислали-с! — кивнул Нахимов на белый дымок разорвавшейся в это время вверху, шагах в пятнадцати от них, гранаты.

Далеко не все оглянулись на «букетик», присланный французами; большинство даже и не повело голов: эти букетики можно было видеть все-таки гораздо чаще, чем Павла Степановича Нахимова, тем более что теперь всех занимало только одно: зайдет ли их адмирал в хату, где праздновался сговор.

И все лица расцвели довольными улыбками, когда Нахимов спрыгнул с серого и по привычке одернул задравшиеся кверху штанины брюк. Колтовской смотрел на него вопросительно, высвободив из стремени правую ногу, — нужно ли слезать также и ему; Нахимов утвердительно шевельнул бровями.

И вот «отец матросов» стоял уже в хате, в тесном кругу матросов и матросок с Корабелки; на столе, наскоро прибранном, красовалось все, что могло найтись как закуска под водку: и сушеная тарань, и жареные бычки, и ставридка, мелкая рыбешка, ловившаяся удочками в бухте, и даже греческое блюдо — ракушка мидия с рисом; но больше всего было веселого зеленого луку, на который особенно щедра бывает огородная земля в апреле. Густо пахло зеленым луком и от Даши, и от ее жениха, и от прочих.

— Присядьте, ваше превосходительство!.. Садитесь, будьте ласковые, Павел Степаныч!.. Уважьте сиротку нашу!.. — обращались к Нахимову со всех сторон с ненадуманнми словами больше матроски, чем матросы, суетливо расширяя для него за столом самое лучшее, по их мнению, место.

— Ну что же, сядем-с, посидим минутку-с, — за себя и за своего флаг-офицера решил благодушно Нахимов. — А если найдется у вас холодная вода с чуть-чутьочкой вина красного, — показал он на кончике своего мизинца, — то я и выпью-с!

— Вина! Красного! — засуетились все около, и общая настала растерянность: не было красного вина, — была только бутылка вишневой наливки, припасенная для слабого пола.

Делать было нечего: так вот сразу взять и достать красного вина поблизости было негде; подкрасили вишневкой стакан воды, Даша сама, как виновница торжества, преподнесла его Нахимову, и все с разных сторон потянулись шумно чокаться с ним, отчасти чтобы скрыть суматохой кое-какой конфуз.

Колтовской, заметив, из какой бутылки доливали стакан с водой, наблюдал с улыбкой, как отнесется его адмирал к подделке, но Нахимов сделал вид, что напиток получился как раз по его вкусу и желанию.

Он сидел за столом в этой очень тесной, насквозь пропахнувшей зеленым луком и другими густыми и стойкими запахами хатенке, благодушно веселый. Участливо вглядываясь в голубые глаза Даши своими, тоже голубыми, слегка прищуренными глазами, внимательно выслушал ее рассказ, как послушно вел себя ее жених на первом перевязочном пункте, когда попал туда, раненный пулей в мягкую часть левой руки около плеча, и какая здоровая оказалась у него кровь: у очень многих раненых, даже если и совсем царапина, а не рана, даже если просто пиявку приставили к сильному ушибу, то и в укушенном пиявкой месте начинается почему-то рожа, — а это очень скверная штука! — у него же и следа не было рожи, — вот какая кровь!

Матрос Лукьян Подгрушный, с мягкими еще, но густыми темными усами, кареглазый, плечистый, дюжий детина, глядел и на свою невесту и на адмирала с большим белым крестом на шее одинаково озабоченно: видно было, что он все-таки ждет с некоторым страхом, что вот-вот его бойкая Даша скажет что-нибудь не то и не так и раздосадует командира порта.

Однако Нахимов остался неизменно благодушен до конца, когда уже начало заметно смеркаться. Он даже поковырял вилкой в икре особенно большого бычка, когда начали усиленно упрашивать его что-нибудь откусать, хотя и говорил он направо и налево, что он только недавно обедал.

О том, что раненые после ампутации плохо выздоравливают, а многие из них погибают вследствие рожи, он знал, конечно, так как часто бывал и на перевязочных пунктах и в госпитале на Северной. Совсем недавно, например, умер от такой же точно раны в руку, какая была у жениха Даши, полковник Лушков, только что назначенный, всего, может быть, за неделю перед ранением, командиром Волынского полка на место генерал-майора Хрущева. Знал он и то, что под влиянием большого числа неудачных исходов своих операций

академик Пирогов становился все мрачнее и мрачнее, наконец заболел сам и слег и лечит себя черникой.

Поэтому выбор Даши он, заматерелый холостяк и даже, по мнению флотских дам, яростный противник брака, одобрял про себя и вслух, говоря ей:

— Жених хорош!.. Жених по невесте, вполне-с!.. Вот отстоим Севастополь, сыграем тогда свадьбу-с... Приглашай тогда и меня... В шафера, правда, я уж не гожусь, — устарел, в посаженные отцы не вышел, — надо женатого, а вот свадебным генералом я быть могу-с!.. Могу ведь, а? — обратился он через стол к Кошке, который сидел против него и не сводил с него восторженных хмельных глаз.

Когда кивнул ему Нахимов, он тут же вскочил, руки прижал ко швам и выкрикнул с чувством:

— Ваше превосходительство!

Вспомнил приказ о производстве в адмиралы и смешался:

— Виноват! Ваше высокопревосходительство! — но тут же оправился, увидев улыбку Нахимова: — Павел Степаныч!.. Я еще в надежде даже, что, как если разрешите, и на вашей свадьбе казачка спляшу в лучшем виде!.. Поразогнала, конечно, бандировка всех невестов, ну, да Севастополь отстоим — они вернутся, а уже лучше вас жениха им не найти в жизнь!

— Ка-кой комплиментщик! — сложив руки, засмеялся Нахимов. — Это уж называется: благодарю-с, не ожидал-с!

Беловолосая девочка лет четырех, которую мать-матроска держала на руках, а потом опустила на пол, сказав устало: «Ну тебя совсем, какая тяжеленная телушка!» — проворно протиснулась между ног толпы прямо к этому важному генералу в золотых эполетах и ушла в него глазами, задрав голову и открыв рот.

— Ишь ты ведь, какая любопытная! — заметил ее Нахимов, поднял и посадил к себе на колени.

— Как тебя зовут? — вздумал спросить девочку Колтовской, но она только чуть покосилась на него, а ответила этому старику в красивых эполетах и с белым крестом на шее:

— Катька!

Голос у нее оказался басовитый.

— Сиротка, — сказала о ней Даша, — отца еще в январе убили.

— А кто отец был? — спросил Нахимов.

— Селиванкин фамилия... На втором бастионе смерть получил...

— Селиванкин?.. Помню Селиванкина.

Нахимов старательно пригладил белые Катькины вихры и сказал ей вдруг притворно строго:

— Уезжать отсюда надо-с! Где мать, покажи-ка!

Девочка пошарила по толпе глазами и протянула пальчик:

— Во-он мамка!

Женщина в белесом платочке, с худым, скуластым, успевшим уже загореть, не то обветриться лицом, выступила вперед из толпы.

— Уезжать надо с Катькой, а то, ну-ка, не убережешь ее тут, — обратился к ней Нахимов.

— Одна, что ль, у меня Катька? — отозвалась матроска. — Окромя ее, двое еще есть.

— Вот видишь ты! Трое, а ты их как бережешь? Скажешь, денег нет на отъезд, — приходи ко мне в штаб, там тебе выдадут пособие.

— Спасибо вам, Павел Степаныч, — низко поклонилась матроска, но Нахимов сказал, приглядевшись!

— Не вздумай только потом здесь остаться, взыщу-с!

— А может, замирение выйдет, ваше высокопревосходительство? — робея спросил жених Даши.

— Не жду-с! — решительно ответил Нахимов и нахмурился. — Никакого замирения пока что не может быть и не будет-с!

IV

Апрель в Севастополе явился не только месяцем теплой весенней ласки, буйной зелени и цветов и кое-какого отдыха от жестокой одиннадцатидневной бомбардировки, — это был еще и месяц надежд на скорый мир и снятие осады.

Много ходило тогда слухов о венских конференциях, на которых действительно решалось как раз в это время, продолжать или закончить войну, оказавшуюся слишком убыточным предприятием для западных держав. Правда, уже к концу апреля венские конференции зашли в тупик, но в Севастополе об этом еще не знали.

Пехотные полки видели, как празднуют моряки разных экипажей, и вот решено было среди пехотного офицерства четвертого отделения оборонительной линии устроить свой праздник в одном из полков. Хрулевым был выбран для этого Охотский полк, праздновать же нужно было нечто обязательное, определенное; остановились на том, что охотцы честно и славно несли шестимесячную, приравненную указом Николая к шестигодовой, боевую службу по защите Севастополя, появившись здесь накануне Инкерманского боя. Днем праздника выбрано было 1 мая.

Часто случается так, что, когда назначают заранее день торжества на свежем воздухе, начинает вдруг строить всякие каверзы погода. И охотцы и их соседи по бивуаку ретиво принялись готовиться к празднику, но как раз в разгар этих хлопот и забот — 27 апреля — хлынул проливной дождь. Думали, что каверзы кончатся на этом, но на следующий день дождь повторился, а 29 апреля лил как из ведра весь день. Пришли в отчаянье, но канун праздника выдался благотворно солнечный, а благодаря трехдневным дождям только пышнее и ярче распустилась кругом всякая зелень и начисто смыта была своя и чужая кровь с передовых редутов. Погода же на 1 мая удалась как нельзя лучше для торжества. И на той же самой Корабельной слободке начался утром праздник охотцев.

Начался он панихидой в походной церкви полка по убитым и умершим от ран и болезней; много насчитано было таких, и долго пришлось бы священнику читать имена, если бы вздумал он прочитать их все. Потом отслушали молебен и, наконец, стали выходить из церкви, и первым вышел взвод георгиевских кавалеров — семьдесят человек — краса полка.

Конечно, эта краса полка должна была пройти церемониальным маршем перед начальством, среди которого были: и Хрулев, как начальник всех пехотных частей Корабельной стороны, и генерал Павлов, как начальник 11-й дивизии, в которую входил Охотский полк, и новоиспеченный генерал князь Васильчиков, как начальник штаба гарнизона, и еще несколько генералов.

Конечно, играл при этом полковой оркестр Охотского полка, но в нижнем этаже самого вместительного из домов Корабельной слободки,

в котором жил Хрулев и который он теперь уступил для праздника охотцам, ждали кавалеров еще три оркестра остальных полков дивизии, а кроме того, сборный хор певчих, человек восемьдесят.

Просторные комнаты как нижнего этажа, так и верхнего были сплошь уставлены столами с бутылками и закусками: внизу попроще — для солдат, вверху поизысканней — для генералов и офицеров.

Охотцы привлекали к подписке на обед многих офицеров из других полков, которые могли быть свободными 1 мая, и подписка дала три тысячи серебром, но были еще и крупные вклады, позволившие развернуть обед на весьма широкую ногу. Одного шампанского заготовлено было полтысячи бутылок, паштета из дичи на двести персон...

Но и кроме паштета из дичи, было много блюд, внушающих уважение: недостатка в хороших поварах в то время еще не замечалось в Севастополе. Большими искусниками были коки каждого корабля, но не прекращали своей весьма доходной деятельности и гремевшие здесь до войны рестораны Серебрякова и Томаса; даже и на Корабельной вполне исправно кормил офицеров ресторан под вывеской «Ростов-на-Дону».

Для того чтобы заготовить к празднику все без отказа, нашли подрядчика, человека по-военному смелого, который обязался заготовить вина разных сортов и марок хотя бы на пол-Севастополя, а если бы вдруг чего не достало для пирующих, то соглашался и на то, чтобы совсем ему ничего не платили.

Из генеральских квартир в городе доставлены были богатые сервизы: фарфор, хрусталь, серебро, даже золото... Букеты всевозможных цветов из окрестностей Севастополя украшали столы верхнего этажа, но не забыты были столы нижнего: всюду в кувшинах белели там благоухающие кисти акаций, золотели желтофиоли...

Горчакова не было на празднике, но когда Хрулев поднял бокал за здоровье главнокомандующего, то все полтора человека соединенных оркестров дивизии и восемьдесят песенников грянули горчаковскую песню:

Жизни тот один достоин,

Кто на смерть всегда готов;
Православный русский воин,
Не считая, бьет врагов!

Однако и сам Хрулев был хорошо известен солдатам-охотцам еще по Дунайской кампании, когда против турецких скопищ под Туртукаем, на острове Голом, повел он лично в атаку их полк. Это было не так и давно, в феврале 1854 года; и вот подвыпивший фельдфебель Кривопуттов, один из георгиевских кавалеров, с бокалом шампанского вышел в палисадник перед домом и возгласил, подняв голову к балкону второго этажа:

— За здоровье генерала Хрулева Степана Александрыча!

Хрулев тут же появился на балконе с графином водки и чайным стаканом, налил себе на глазах у всех, без фальши, доверху полный стакан, звонкоголосо, как команду, прокричал:

— Здоровье всех георгиевских кавалеров, ура-а!

Потом молодецки, не отрываясь, «вонзил в глотку» весь стакан до дна и высоко подбросил его над крышей дома.

Долго потом гремело «ура» Хрулеву.

Он уже стал широко известен среди солдат и матросов как храбрец самой высокой марки.

Всегда в сопровождении своего телохранителя, здоровнейшего боцмана Цурика, всегда в папахе и бурке и на неизменном белом кабардинце, сидя по-казацки, пригнувшись к луке деревянного казачьего седла и упираясь ногами в деревянные же огромной величины, точно две крысоловки, стремяна, он с первых же дней своего появления в Севастополе стал фигурой, которую нельзя было не запомнить, раз только ее увидев. Но удивить севастопольцев личной храбростью было уже гораздо труднее. Однако и это удалось Хрулеву.

Он появлялся в самых опасных местах и в какое угодно время. Было однажды, что он направился на Малахов, обеспокоенный очень усилившейся вдруг бомбардировкой. На той стороне Малахова, которая смотрела на Севастополь, сохранились еще несколько матросских хатенок-полупещер; они выстроились двумя рядами,

образуя узенькую улицу. Несколько человек солдат шли по ней; догоняя их, ехал Хрулев.

Вдруг бомба большого калибра упала в верхнем конце улицы и, подпрыгивая, покатила вниз. Солдаты разбежались и легли на землю около домишек, между тем бомба попала в неглубокую воронку, из которой не могла уже выбраться, и принялась вертеться и шипеть, — грозный признак!

— С лошади, с лошади, ваше превосходительство! — закричали солдаты Хрулеву, который продолжал двигаться вперед, хотя и шагом, потому что в гору.

— Вот тебе на! Это зачем же? — спросил, не останавливая коня, Хрулев.

— Бомба! Бомба!

— Вижу... А может, не разорвет ее?

— Разорвет! Разорвет!

— Ну, авось нет! — усмехнулся Хрулев и послал кабардинца вперед.

Это была, конечно, счастливейшая случайность, что бомба повертелась, пошипела и успокоилась, не дав взрыва. Хрулев проехал мимо нее вполне благополучно; но для солдат, видевших это, он сразу стал существом необыкновенным, особенно когда обернулся он к ним и крикнул:

— Ну что, ребята? Ведь говорил же я вам, что не разорвет!

Солдаты даже начали креститься, вставая с земли, точно при явном наваждении.

А однажды, когда ему вздумалось познакомиться с укреплениями других дистанций и он появился на третьем бастионе в открытом для неприятельского обстрела и притом узком месте, — часовой, здесь поставленный, закричал ему:

— Извольте слезть с лошади, ваше превосходительство! Здесь проезжать нельзя!

— Почему это? — удивился Хрулев.

— Убить могут!

— А могут и не убить?

— Беспременно убьют-с!

— Почем же ты знаешь?

— Да здесь и шагом-то никто не ходит, а только бегают, и то согнувши, а то живым манером две, а то три штуцерные впалют, ваше превосходительство!

— А может, и не впалют?

— Никак нет, беспременно убьют-с!

— Что-то мне не верится, — улыбнулся Хрулев. — Посмотрим!

С ним были тогда, кроме боцмана Цурика, еще два ординарца-прапорщика. Хрулев всем трем приказал остаться в безопасном месте, а сам шагом поехал по опасному. Действительно, несколько пуль сейчас же запело у него над головой, но ни он сам, ни его лошадь не были задеты.

Часовой с изумлением посмотрел на боцмана Цурика, ища у него отгадки такому странному обстоятельству, и боцман кинул ему снисходительно:

— Это ж генерал Хрулев!

Как будто с генералом Хрулевым не могло произойти того, чему были подвержены все вообще люди.

Познакомившись с третьим бастионом, Хрулев тем же опасным путем возвратился к своей маленькой свите, и не один только часовой, а и другие солдаты видели это издали.

От одного к другим начали передаваться, даже приукрашенные фантазией рассказчиков, эти два и другие подобные случаи с Хрулевым, и довольно быстро генерал в папахе и бурке завоевал сердца не только солдат, но и матросов, что было гораздо труднее.

Разогретые вином, песенники пели с большим чувством веселую плясовую:

Купи,

Купи-и Дуне,

Купи,

Купи-и Дуне,

Купи Дуне сарафан,

сарафан!

Купи Дуне сарафан,

сарафан!

По-пи По-пи-итерски,
По-пи По-пи-итерски,
По-питерски рукава,
рукава!..
По-питерски рукава,
рукава!..

А в широком кругу перед палисадником открыли пляску солдаты-охотцы, причем те из них, которые плясали «за дам», манерно прищуривались, поводили плечами и обмахивали потные, красные, выдубленные боевою жизнью лица сомнительной чистоты платочками. Ужимки этих бастионных актеров на женские роли заставляли неприхотливых зрителей покотом ложиться от хохота, но такого поношения своего пола не могли хладнокровно стерпеть матроски, солдатки и мещанки с Корабельной, собравшиеся на праздник в самых лучших своих платьях; и вот уже пять-шесть молодых и бойких энергично втиснулись в круг и пустились развеять пыль широкими юбками и лихо притопывать каблуками.

И-эх, бейтесь, бейтесь, башмачки,
Разбивайтесь, каблучки, —
Мне не матушка дала,
Я сама вас добыла!..

Гремел хор песенников, свистуны заразительно подсвистывали в два пальца, а на смену уставшим плясунам и плясуньям входили в круг новые пары.

Со стороны французов не могли не заметить праздничных толп, выплескивавших за пределы спасительного спуска к бухте; оттуда стреляли, хотя и не оживленно, навесными снарядами, и «букеты белых цветов» время от времени появлялись в воздухе, но к этим подаркам интервентов все давно уже привыкли. Иногда, когда гранаты лопались очень близко, разбегались, чтобы тут же сойтись опять, иногда же, и гораздо чаще, только кое-кто провожал перелеты глазами.

В стороне от большого круга, где гремели и музыка оркестров и песни хора и шел подмывающий пляс, завели визгливую, но приманчивую игру в горелки; в другом месте скрипели, раскачиваясь, нарочно сооруженные к празднику качели; в третьем самочинно началась азартная орлянка, и принялись вспархивать, как пташки, поблескивая на майском солнце, медные пятаки...

Подняв на балконе свой стакан водки за георгиевских кавалеров, Хрулев потом начал выискивать в своей и чужой памяти отмеченных белым крестиком героев-солдат и матросов с других бастионов и посылал казаков своего конвоя за ними, чтобы, если они свободны, и их приобщить к празднику охотцев.

Так начали появляться здесь одни за другими севастопольские чудо-богатыри. Пришли с четвертого бастиона два знаменитых сапера, оба унтер-офицеры, Федор Самокатов и Афанасий Безрук, бессменно, с самого начала осады, работавшие на такой иногда глубине, где даже и свеча не горела, и под вечной угрозой смерти или от обвала, или от взрыва.

Не один раз того и другого вытаскивали из галерей замертво, придушенных обвалившейся землей; оба потеряли счет своим контузиям и легким ранам, оба были ранены по два раза серьезно, но быстро оправились от ран.

Оба жили в минах, если же выходили из них, то только по ночам, чтобы подобраться поближе к неприятельским траншеям, узнать, что и где копает противник. Важно было не просто высмотреть это, а измерить на поверхности земли шагами расстояние одних работ от других, чтобы потом прикинуть наблюденное на поверхности земли к тому, что делалось под землею.

А местность перед четвертым бастионом была вся покрыта или колючими кустами, или воронками от бомб и взрывов горнов, или вывороченными из земли большими камнями. Кроме того, в ямах перед французскими траншеями сидели их секретеры, которые время от времени открывали пальбу. И Самокатов и Безрук были ранены пулями именно во время таких ночных прогулок.

Но как ни трудно бывало добывать сведения о противнике, однако добытое ими было точно: даже и ночью не изменял им глазомер, и,

когда по их указаниям наводились орудия, батареи бастиона приносили много бед противнику меткой стрельбой.

Один владимирец родом, другой черниговец, эти привычные к темноте кроты подходили к дому Хрулева, сильно щурясь от слишком яркого для них дневного света, но оба они были brave и еще молодые солдаты; даже усы у них у обоих, редкие белесые кустики, не имели пока вида настоящих, форменных солдатских усов.

От Владимирского полка рядовой Лазарь Оплетаев пришел вместе с унтером Бастрыкиным. Оплетаев был офицерский денщик, сибиряк, с плоским, изрытым оспой лицом, маленькими медвежьими глазками и медвежьей силищей. Как денщик он мог бы свободно сидеть себе в блиндаже или даже на городской квартире и стеречь чемодан своего поручика, но он был неизменным охотником во всех вылазках, в которых участвовали его однополчане, и во всех крупных боях. Как на денщика махнул на него рукою поручик, до того он казался ему бестолковым, но во время вылазок и сражений большую сметливость проявлял этот медведь, а однажды даже единолично захватил в плен и притащил в целости двух ничуть не раненных зуавов, из которых один оказался офицер...

Ходил он увальнем, как это свойственно было денщикам пожилых лет, так что Бастрыкин, в ногу которому он никак не попадал, зло ворчал на него, но это средство не помогало, потом пытался попасть как-нибудь ему в ногу, однако и это ни к чему не привело: Оплетаев ставил ноги носками внутрь, больше в стороны, чем вперед, и делал шаги то длиннее, то короче.

Бастрыкин, ярославец, с виду был то, что называется молодчага, — хоть бери в гвардию. Отличился он еще в бою на Алме, когда Владимирский полк пошел в атаку на англичан. Сломав свой штык в рукопашной схватке, он взял ружье за дуло и действовал прикладом, как тараном, прочищая себе дорогу в стене красномундирных детей королевы Виктории, пока, наконец, не получил в свою очередь сильного удара в голову штуцерным прикладом. Свалившись на кучу трупов, пролежал он в беспамятстве до раннего утра, когда упавшая роса его освежила. Очнулся, огляделся, — видно было немного, — только трупы кругом. Припомнил, где он и что с ним. Поднялся было,

но тут же повалился снова. Однако, как ни был слаб, понял, что раз не видно было около русских санитаров, значит не осталось близко и русских полков и предстоит ему плен.

Рядом с его лицом прихлещь несколько примятых былинки травы, покрытых росой. Слизал он эту росу, освежил язык и, хотя в голове стучало, все-таки поднялся снова и, осторожно ставя ноги, начал пробираться между телами.

Трудно было взять направление, какое надо, но он старался отойти подальше от речки, которую чувствовал по холодку и сырости, а когда силы оставляли его, валился на землю. Отдыхал, впрочем, недолго, чтобы успеть подальше выбраться до света. И не только успел выбраться сам, но по дороге захватил с собою двенадцать человек раненых, которые все-таки могли двигаться, и всех через три дня привел в Севастополь.

А через месяц после того ему уже пришлось во время сражения под Балаклавой встречать французских конных егерей на Федюхиных высотах залпом и штыками, и егеря были встречены честь-честью. Владимирцы потом понесли много потерь в арьергардном бою при Инкермане, но Бастрыкину посчастливилось не только уцелеть, но и отличиться, когда остатки его роты, лишившись всех офицеров и даже фельдфебеля, выводились им из огня.

За Инкерман был приколот к его мундиру первый Георгий; второй же, с бантом, получил он за вылазки с батареи храбреца Будищева, примыкавшей к третьему бастиону, куда переведен был Владимирский полк с Бельбека в конце марта.

Следом за Бастрыкиным и Оплетаяевым двигался на праздник такой же нескладно скроенный, но прочно сшитый георгиевец Тобольского полка Иван Дворниченко, прозванный в своем полку «мостом тобольцев».

В Дунайскую кампанию, в бою при деревне Четати, когда целая дивизия турок напала на один Тобольский полк, рота, в которой служил Дворниченко, оказалась отрезанной от остальных рот атакованного большими силами батальона глубоким и довольно широким оврагом. Нужно было спешить на подмогу своим, но препятствие казалось неодолимым. Тогда Дворниченко бегло оглядел

овраг и, найдя в нем самое узкое место, быстро спустился в него, стал в нем на два каменных выступа, до предела расставив для этого ноги, и замахал руками, крича своим:

— Скакай, ребята!

В тяжелой полной походной амуниции, держа ружье перед собой, стоял он, нагнув голову на бычьей шее и выставив спину горбом, а через эту спину, становясь на нее с разбегу одной ногой, перемахнули один за другим все двести с лишком человек, бывших в роте, и только благодаря этой дюжей спине вовремя подоспела помощь остальным трем ротам, изнемогавшим уже в неравной схватке. Так яростно ударили в штыки добежавшие до своих молодцы, что разом показали тыл турки.

Мало быть человеком большой силы, — надо еще и самому найти, на что может пригодиться эта сила в решающий для успеха общего дела миг. Дворниченко действовал на свой страх и риск: он не получал и не мог получить от своего начальства приказа стать ротным мостом в овраге. Он только примерился и почувствовал вдруг, что можно так сделать и что он вынесет эту тяжесть, и стал. А когда число перескочивших благодаря ему перевалило за сотню, отыскал он глазами упор в камнях и для своего бесполезно торчавшего на весу ружья: штык вонзился в расщелину, и «тобольский мост» сделался мостом на трех быках, а когда пропустил он всю роту, снялся с места и сам, выбрался из оврага и пустился с криком «ура» догонять товарищей.

За этот подвиг получил он свой первый крест; второй заслужил в Севастополе, на пятом бастионе...

Шли бутырцы, томцы, колыванцы, азовцы, одессцы, якутцы, суздальцы и солдаты других полков... Шли матросы... Пришел и седоусый уже, но лихой и бравый, подтянутый, как скаковой конь, в линялой синей черкеске без погон, с пистолетом и двумя кинжалами, кроме кавказской шашки, за поясом, заколдованный от пуль и снарядов есаул Даниленко с тремя из своих пластунов: Кукою, Грищуком, Макаром Шульгой и Андреем Гиденько.

Пластунов особенно радостно встретил Хрулев; сам наливал им всем четверым шампанского, обнимал их крепко, чокаясь с ними, и вдруг

сказал, приставив палец ко лбу:

— Вот мысль меня осеняет какая! Столько перебивало уж тут нынче молодцов из пехотных полков, что только одеть бы их в черкески да папахи, да понатыкать им кинжалюк за пояса, вот тебе и будут готовые пластуны! А то народ вы до зарезу нужный, да, черт знает, как мало вас, братцы мои!

— Ні, ваше прэвосходительство, ни як нэ буде пластунів з піхоты! — решительно отверг эту мысль Даниленко.

— Вот тебе на! Отчего ж так «нэ буде»? — даже опешил несколько Хрулев.

— Богацько работы треба, щоб аж из козака пластуна зробить, — покрутил головой Даниленко.

— Ну да, конечно, не всякий способен, — об этом не может быть спору! Однако ж не о всяком и речь идет.

— Ні, нэ буде діла, — отозвался ему Даниленко и даже рукой махнул, после шампанского принимаясь за водку, но Хрулев, совершенно огнедышащий от огромного количества выпитого им вина, дружески потрепал его по плечу, подмигивая при этом генералу Павлову, полковнику Малевскому, командиру охотцев и другим сидевшим за его столом:

— Конкуренции боится, старина!.. Ну, а попробовать все-таки не мешает... Чем черт не шутит, — глядишь, что-нибудь да выйдет!

За столом Хрулева сидел также и полковой священник Камчатского полка иеромонах Иоанникий, у которого теперь наперсный серебряный крест висел уже на георгиевской ленте за дело 15 марта.

Он был уже вполне достаточно нагружен. Белки больших навывкат серых глаз его сильно порозовели, грива светло-русых густых волос растрепалась, но длинная борода была в порядке: он то и дело утюжил ее левой рукой.

— Эх-ма-а! — выдохнул он вдруг горестно. — Вот из меня бы пластун вышел — загляденье!.. Не по своей я дороге пошел!.. Покойник Фотий виноват, — он соблазнил!

Все четыре пластуна, по сложению люди некрупные и поджарые, причем парадные черкески у трех рядовых имели каждая не меньше как по восьми заплат разных цветов, повернули разом головы к этому

огромному бородачу-монаху, переглянулись между собою лукаво и, чтобы не прыснуть неполитично в рукава, поскорее взяли за стаканы.

А между тем Иоанникий совсем не ради шутки сказал это, и кое-кто за столом, кто знал «Анику-воина», да и сам Хрулев, не приняли этих слов за шутку. Он действительно был воинственной натурой и в пьяном виде как-то высказывал даже сомнение в том, существует ли загробная жизнь, в которую каждый почти день напутствовал он смертельно раненных солдат.

В то время как есаул Даниленко, по свойству людей политических, всесторонне обдумывающих то, что приходится докладывать начальству, говорил Хрулеву:

— Пластун з піхотинця — это ж, ваше прэвосходительство, усе равно як той хвальшивый заец, якого в ресторации подають... Дарма що напысано на бумажкі «заяц», а він зовсім баран, тільки шо свиным салом шпигованный...

Иоанникий гудел, обращаясь к начальнику 11-й дивизии Павлову:

— Ведь я, когда семинаристом был последнего класса, то я двухпудовой гирей шутя пятнадцать раз подряд мог креститься, а теперь не могу уж, да и зачем, скажите, сила мне сдалась, ежели я духовный сан имею, да еще и в монашестве состою?

И, не дожидаясь ответа от рассолодевшего Павлова, он со свистом набрал воздуха в широкую грудь и загрохотал, как гром:

Ко мне барышни приходили,
Полштоф водки приносили,
С отчая-я-яньем говорили:
- Ах, жа-аль! Ах, ах, а-ах!
Ах, как жа-аль, что ты монах!

Это неоднократно повторявшееся «ах» зазвучало в до отказа набитых комнатах, как стрельба картечью из двадцатифунтового единорога{89}.

Здоровая на вид, даже, пожалуй, излишне полная женщина лет сорока пяти, с грубыми мужскими чертами лица, в коричневом платье сестры милосердия и в белом чепчике, похожем фасоном на раскидистый лист лопуха, но без золотого креста на голубой ленте, придя к вечеру на праздник и обращаясь ко всем на «ты», солдат ли ей попадался, или офицер, все добивалась, как бы ей повидать генерала Хрулева, — поговорить с ним о важном деле.

Ей отвечали, что Хрулев занят и к нему теперь нельзя. Однако она была упорна и дождалась все-таки, когда Хрулев спустился в палисадник; праздник заканчивался уж в это время, — офицеры начали расходиться к своим частям.

— Это ты, стало быть, будешь генерал Хрулев? — обратилась к нему, подойдя, женщина. — Я к тебе — поговорить пришла.

Хрулев удивленно поднял черные брови: давненько уж, лет, пожалуй, около сорока, никто не говорил ему так вот с подходу «ты».

— Гм... я — действительно генерал Хрулев, а ты кто такая будешь? — в тон ей отозвался он.

— А я зовусь Прасковья, по батюшке Ивановна, а по фамилии Графова, — речисто ответила та. — Прибыла я, значит, сюда, в Севастополь, еще в марте месяце с сестрами милосердными из Петербурга, только в общине этой ихней я не состояла и состоять, скажу тебе, дорогой, прямо не желаю! Знаю я, чем они все дышат, эти сестрицы милосердные, также и называемые сердобольные вдовы!

— Ну хорошо, а в чем же все-таки дело твое?

— А дело мое такое, родимый... Поместили меня, видишь, на Павловском мыске, в домишке в одном с сердобольной вдовицей, а вдовица эта старушонка вредная оказалась, злоязычница, не приведи бог!.. Я ей слово — она мне десять, я опять же слово, она — все двадцать! А сама же сморчок и перхает как овца! Какая от нее польза могла быть воинам раненым? Ни-ка-кой, уж ты мне поверь... А как пошла жаловаться начальству, чью, думаешь, сторону начальство взяло? Ее, этой самой овцы перхающей! «Ты, — говорят мне, — зачем ее вещишки самовластно выкинула в окошко? Ты должна была заявить по команде!» Ну, мне не иначе подошло так — оттудова уходить.

— Так! Понял!.. А от меня ты чего же хочешь? — спросил Хрулев.

— Возьми ты меня к себе на бастион свой, родимый.

— Гм... Дело мудреное... Где же ты жить думаешь на бастионе?

— А где солдаты там живут, и я с ними буду, — тут же ответила Прасковья Ивановна.

— Лучше будет, пожалуй, тебе в офицерский блиндаж поместиться, — начал раздумывать вслух Хрулев.

— Ну что ж, как находишь, дорогой: в офицерский так в офицерский, только чтоб сегодня ты уж меня к месту приставил.

— Спешешь, значит? Ну, тогда иди к капитану первого ранга Юрковскому на Малахов, — скажешь ему, что я послал... Сестры милосердия, правда, нигде на бастионах еще не живали, — сделаем такую пробу, с тебя начнем... Только это ведь тебе, матушка, не какой-нибудь Павловский мысок... Там пули так и жужжат, как мухи, о снарядах уж не говоря.

— И-и, нашел, чем меня пугать, пу-ули! На то и война, чтоб пули... К кому, говоришь, мне там обратиться? К Юрковскому?

— К Юрковскому, он там главный начальник... А чтобы блиндажик для тебя сделали, это я завтра прикажу сам.

— К Юрковскому, значит... Ну, вот я пойду теперь... Будь весел, родимый!

— Да я и так не грущу, — буркнул Хрулев, глядя вслед грузно повернувшейся и размашисто уходящей широкой женщине в коричневом платье и белом чепчике.

Смеркалось уже... Хор певчих еще пел, впрочем не совсем твердыми и уверенными голосами, рефрен к известной песне «Что затуманилась, зоренька ясная, пала на землю росой»:

Там за лесом, там за лесом
Разбойнички шалят,
Там за лесом, там за лесом
Убить меня хотят...

Нет, не-е-ет, не пое-еду,
Лучше дома я помру!
Нет, не-ет, не пое-еду,

Лучше дома я помру!

Однако песня эта звучала уже как разгонная. Офицеры расходились группами, иные под руку друг с другом для сохранения равновесия, иные в обнимку и тоже пытаясь петь. Подрядчики выполнили свои обязательства безупречно: вина хватило. Начали разводить командами и солдат-охотцев к своему бивуаку. Но тут же с праздника в дело уходили и другие команды — команды охотников, вызвавшихся идти на вылазки в наступающую ночь на правом фланге позиций.

И праздник охотцев еще догорал, дотлевал, — не мог он потухнуть сразу, разгоревшись так широко и жарко, — а в неприятельских траншеях гремели залпы и беспорядочные выстрелы застигнутых врасплох, и жестоко работали русские штыки.

Полтора человека охотников от Минского и Подольского полков ворвались во французские траншеи между пятым и шестым бастионом, а батальон колыванцев, подкрепленный сотней охотников, громил французов же против редута Шварца.

И та и другая вылазка удались как нельзя лучше.

И по этому шумному празднику, устроенному Хрулевым, и по удаче двух первомайских вылазок можно было, пожалуй, гадать на досуге или о близкой очень крупной победе Инкерманской армии совместно с севастопольским гарнизоном, или же о крутом переломе в пользу мира на венских конференциях; но... май только еще начинался, май был еще долог — тридцать дней еще оставалось мая.

Весенние «равноденственные» бури были уже позади; море во всю свою ширину стало спокойным и гладким, как стол: море нежилось, греясь под теплым солнцем, и через Дарданеллы и Босфор беспрепятственно и безмятежно, точно вышедшие на прогулку, шли и шли парусные и паровые суда интервентов, подвозя на Херсонесский полуостров и большие подкрепления людьми, и снаряды, и порох, и мортиры, и все прочее, что было найдено необходимым для скорейшего торжества квартала Сити и парижских банкиров, для торжества Виктории и Наполеона.

Глава вторая. В стане интервентов

I

За кулисами театра военных действий — в Лондоне, Париже и Вене — ткалась в апреле сложная и хитрая дипломатическая паутина, в которую политики Англии и Франции непременно хотели окончательно запутать Франца-Иосифа и добиться от него объявления войны России. Но у молодого «австрийского Иуды»^{90} были старые и опытные советники школы Меттерниха^{91}, которые знали гораздо лучше, чем он, совершенно расстроенное состояние финансов Австрии и непрочность общего положения страны и удерживали его от рискованного открытого вызова России, державшей наготове большую армию на своих юго-западных границах.

Наполеон негодовал:

— Да что же такое, наконец, этот Франц-Иосиф? Ни верный союзник, ни честный враг?

Он даже решил было сам ехать в Вену обольщать эту явно двуличную красавицу, но в последний момент понял, что это будет очень трудное дело, и не поехал. Конечно, он понимал и то, что вся суть его дипломатической неудачи в чрезмерно затянувшейся осаде Севастополя, и порывался отправиться в Крым, чтобы личным присутствием среди союзных армий вдохновить их на подвиг одним могучим ударом окончить войну, но, уяснив для себя, что это будет потруднее, чем даже уломать Франца-Иосифа, отложил поездку. В апреле он только переправился через Ла-манш, чтобы сделать визит королеве Виктории.

К концу апреля венские конференции совершенно расстроились, и лорд Россель, представитель Англии, уехал из Вены, то же самое сделал и французский министр иностранных дел Друэн де Люис. Наполеон же хотел найти в Лондоне одобрение своему плану перенести, не оставляя осады Севастополя, военные действия внутрь Крыма, чтобы здесь найти быстрый и верный выход из тупика и блистательно, двумя-тремя сильными ударами по тылам Горчакова закончить войну.

Конечно, план этот был одобрен в Лондоне с первых же слов, но он

требовал значительных новых сил для отправки в Крым, и Наполеон скоро увидел на месте, что богатая «добрая старая» Англия очень бедна солдатами и что это совершенно непоправимо.

— В конце концов Франция оказывается в таком положении, что должна в этой войне надеяться только на свои силы, — говорил, возвратясь, Наполеон своему министру Вальяну. — Мы можем посылать в Крым еще и еще войска, однако я вижу, что нам нужен там не Канробер, а Суворов... Да, только один Суворов мог бы добиться там быстрой и решительной победы!

— К сожалению, у нас нет Суворова, государь, — скромно ответил Вальян.

— Однако ведь давно известно, что война родит героев! Надо попытаться найти его во что бы то ни стало!

— Нового Суворова, государь, не имеет и Россия... Что же касается Франции, то... У нас есть, пожалуй, только Пелисье, больше я никого не вижу.

— Пелисье, — несколько поморщился Наполеон, — в достаточной уже степени стар для того, чтобы быть энергичным главнокомандующим, тем более что этот климат Крыма, он как-то явно старит всех наших генералов, приводит их к бездействию.

— Ваше величество, Суворов был гораздо старше генерала Пелисье, когда совершал свой знаменитый переход через Альпы и побеждал при Требии и Тичино.

— У Пелисье, правда, была недавно удача с этими русскими контрапрошами, — раздумывал вслух Наполеон. — Он показал, что успех в борьбе с русскими вполне возможен, но в конце концов ведь это все-таки не такое уж крупное дело.

— Крупного дела, государь, ему, конечно, не разрешит начать генерал Канробер, пока он будет главнокомандующим, — ответил Вальян.

Разговор этот, в котором Вальян так настойчиво выдвигал Пелисье на пост главнокомандующего французской армией в Крыму, произошел перед отправкой Канроберу плана военных действий, составленного самим Наполеоном.

Контрапроши, о которых говорилось, были выведены по приказу Горчакова против двух укреплений: редута лейтенанта Шварца,

примыкавшего к четвертому бастиону, и люнета лейтенанта Белкина — на правом фланге пятого бастиона.

Там была высокая площадка между двумя балками, и на этой площадке — кладбище. Это было как раз то самое место, откуда повел свою вылазку Минский полк во время Инкерманского боя. Как осажденные, так и осаждающие видели важность этой площадки, и французы под руководством инженер-генерала Ниэля начали в апреле энергично продвигаться по ней, пройдя за восемь суток под огнем русских около двухсот метров зигзагами окопов. Горчаков решил выдвинуться им навстречу, и несколько полков, ежедневно сменяя один другой, неся большие потери от сосредоточенного огня французов, устроили за те же восемь суток оборонительные траншеи на полкилометра в длину, саженьях в пятидесяти от исходящих углов редута Шварца и люнета Белкина.

В эти траншеи было поставлено девять небольших мортир для действия картечью, и работы там продолжались, когда командир первого корпуса французской армии Пелисье обратился к Канроберу за разрешением атаковать и захватить эти траншеи, пока русские не сделали из них сильного укрепления, подобного Камчатскому.

Канробер не давал согласия на штурм траншеи, но Пелисье упорно настаивал. Канробер разрешил, наконец, атаку в ночь с 19 на 20 апреля, однако нерешительность его взяла верх, и вечером 19 апреля он отменил наступление. Между тем Пелисье собрал уже перед русскими траншеями большие силы — целую дивизию — и, взбешенный, послал своего адъютанта к главнокомандующему с извещением, что к атаке все уже готово и она состоится, а ответственность за нее он берет на себя.

Дивизия, брошенная в бой против двух батальонов Углицкого полка, стоявших в эту ночь на охране траншей, конечно, должна была иметь полный успех: траншеи с девятью мортирами в них были захвачены. В стане союзников это было признано крупной победой и в ущерб Канроберу решительно выдвинуло Пелисье.

Действительно, из затеи Горчакова вышло только то, что русские полки своими же руками приготовили для французов траншеи в

близком расстоянии не только от редута Шварца; но и от пятого бастиона.

Вместе с тем рушилась вся придуманная на досуге в Кишиневе стройная горчаковская система расположенных безукоризненно в шахматном порядке контрапрошей, которыми будто бы можно было отжать интервентов от Севастополя. Перед заместителем Меншикова во всей язвительности своей стал вопрос светлейшего: «Сколько же гарнизону думаете вы иметь, чтобы защищать все эти контрапроши?»

Гарнизону же было мало, и он на глазах таял как от огня противника во время работ и вылазок, так и от болезней. Кроме того, много досады доставляли солдатам их ружья, которые вздумали приспособить к французским пулям Минье.

Эти пули после двух или трех выстрелов не входили в дуло, — между тем ружье надо же было как-то заряжать? Шомпол не проталкивал пулю, значит нужно было чем-то колотить по шомполу, чтобы он выполнил свое назначение. Колотили тем, что было в изобилии под руками, — камнями. Шомпол гнулся, однако не шел. Пробовали пули смазывать свечным салом, чтобы входили в дуло без отказа, — не помогло. При слишком же упорных усилиях загнать эти коварные пули случалось, что стволы бывших гладкоствольных, а теперь снабженных нарезами ружей раздирались, как картонные, по этим самым нарезам. — Измена! — кричали солдаты, и офицерам трудновато было их успокаивать, тем более что они и сами теряли спокойствие, видя безоружность своих солдат.

II

В тот же день, когда заняты были интервентами траншеи против редута Шварца, отправлен был из Камыша и Балаклавы большой десант: дивизия французов под начальством генерала д'Отмара и дивизия англичан; последней, как и всей экспедицией, командовал сэр Джордж Броун, оправившийся от раны, полученной в Инкерманском бою.

Из Севастополя замечено было, что эскадры, сопровождая транспортные суда с войсками, направились вечером на запад, и потому кое-кто в штабе Горчакова решил, что десант высадится при

устье Днестра, чтобы действовать против Южной армии генерала Лидерса. Но именно только затем, чтобы сбить несколько с толку русский главный штаб, адмиралы Лайонс и Брюа позволили себе обманный маневр: ночью же соединенный флот повернул назад и взял курс на Феодосию, потому что целью экспедиции были Керчь и портовые города Азовского моря.

Экспедиция эта была решена не без трений между Канробером и Рагланом. Канроберу очень не хотелось расплыть свои силы, но на захвате Азовского моря особенно настаивал адмирал Лайонс, с которым вполне соглашался Раглан, тем более что это соответствовало и видам военного министерства Англии. Канроберу долго не хотелось обессиливать себя на целую дивизию, и уступил он только красноречивым доводам Раглана, что захват Керчи и Азовского моря будет равносителен большой победе под Севастополем, так как весьма подорвет снабжение армии Горчакова.

Эскадры с десантом отплыли, а из Парижа привезен был новый план военных действий, составленный самим Наполеоном и требовавший наличия всех союзных сил в одном месте, именно под Севастополем.

Канробер тут же послал легкий пароход, на котором один из его ординарцев вез приказ адмиралу Брюа и генералу д'Отмару немедленно возвратиться в Камыш.

Раглан был не только поражен отменой экспедиции со стороны Канробера, — он готов был принять это за оскорбление, нанесенное ему, главнокомандующему войсками королевы Виктории. Ничего больше не оставалось ему, правда, как в свою очередь отозвать в Балаклаву эскадру Лайонса и дивизию Броуна, но этот вынужденный шаг надолго лишил его дара красноречия: он сделался очень скуп на слова, желчен и мрачен.

Между тем новый, парижский план войны требовал обсуждения со стороны всех четырех главнокомандующих союзных армий, то есть еще и Омера-паши и сардинского генерала Ла-Мармора, так как начал уже прибывать и высаживаться в Балаклаве корпус сардинцев в две с половиной дивизии.

Правда, пятнадцатитысячный корпус этот представлял собою сравнительно небольшую силу и самостоятельно действовать не мог;

но зато генерал Ла-Мармора, человек огромного роста и весьма воинственной осанки, оказался гораздо более внушительного вида, чем остальные трое главнокомандующих.

Впрочем, роли всех четверых были уже распределены там, в Париже, самим Наполеоном, который если и не решился приехать в Крым, чтобы принять общее командование над силами интервентов, то еще более утвердился в мысли руководить войною, без риска для здоровья и жизни, из своего дворца.

План Наполеона был куда более смел и решителен, чем сорванный им план экспедиции в Керчь и Приазовье: вместо того чтобы только затруднить снабжение армии Горчакова хлебом, скотом и снарядами — уничтожить ее совсем и без остатка, зайдя крупными силами ей в тыл со стороны Симферополя и Бахчисарая, причем, однако, отвергалась операция со стороны Евпатории, о необходимости которой так много писалось раньше в газетах.

План, состряпанный Наполеоном, обсуждался далеко не один день, так как он ломал весь заведенный с трудом порядок войны. Несколько раз приходилось Канроберу то собирать главнокомандующих у себя, то отправляться к ним самому, то обращаться через своих адъютантов с определенными, изложенными письменно вопросами, чтобы получить на них столь же определенные письменные ответы.

Лорд Раглан, были ли совещания у Канробера, или у него, всем видом своим показывал, что он в корне не согласен с тем, что хотят ему навязать. Когда Омер-паша в силу ли привычки думать в одном направлении, или по другим причинам выдвигал снова проект наступления со стороны Евпатории, к которому будто бы все уже было готово в его армии, Раглан решительно поддерживал кроата.

— Вас тоже прельщает этот вариант наступательных действий, милорд? — сдержанно возражал ему на одном из совещаний Канробер.

— Однако критику его, сделанную его величеством, нельзя не признать безусловно серьезной. Вот доводы, выдвинутые против этого варианта... Первый: армия, которая будет двигаться от Евпатории, не будет иметь обеспеченных флангов...

— Но ведь обеспечить фланги свои вполне зависит от командующего

армией! — предпочитая глядеть при этом на Омера-пашу, отозвался Канроберу Раглан.

— Однако же мы сами считались с этим, милорд, — вежливо напомнил Канробер, — когда двигались от той же Евпатории к югу! Тогда наш правый фланг был вполне обеспечен морем.

— А левый и совсем не подвергался нападениям, — подчеркнул Раглан.

— Тогда было мало русских войск в Крыму, теперь же их достаточно... Под Евпаторией стоит отряд в пятнадцать тысяч, и главным образом конницы, способной действовать с обоих флангов, чуть только армия наша вступит в крымские степи. А ведь ночные атаки большими конными массами могут быть и очень опасны, чему бывали примеры у нас, в Африке, во время восстания кабиллов... К этим передовым русским силам теперь, когда дороги везде стали уже хороши, конечно, быстро успеют подойти на помощь другие (и в достаточном числе), которые могут преградить путь нашей армии. Что же тогда? Тогда придется принять бой или начать отступление... Но вот я позволю себе привести второй довод: отступление турецкой армии в случае неудачи безопасным быть не может... С этим нельзя не согласиться, не так ли? Затем третий довод: по причине ровной местности между Евпаторией и подступами к Симферополю с севера нельзя найти выгодной позиции для генерального сражения... Разумеется, или совсем нельзя, или очень трудно... И, наконец, четвертый довод, который тоже немаловажен: степь эта совершенно опустошена, — казаками ли, фуражирами ли пеших и конных полков, безразлично, — и не имеет поэтому средств к пропитанию большой армии; не имеет также и достаточных водопоев; следовательно, в случае окружения армии превосходными силами, она вынуждена будет или принять бой при самых невыгодных условиях, или терпеть бедствия, которые могут привести к еще худшим результатам, о которых говорить не будем...

— Но ведь все эти доводы мне приходится слышать далеко не в первый раз! — возражал Омер-паша. — Разумеется, расстояние между Евпаторией и Симферополем должно быть пройдено стремительным маршем... Что же касается русской кавалерии, то она, конечно, не будет нападать на наши фланги: она просто побежит!

— Как знать!.. День выступления вашего может быть известен русским через перебежчиков или через шпионов, и тогда к Евпатории могут быть подтянуты стойкие части. Наконец, даже при полной удаче, если ваша армия, допустим, победоносно дойдет до Симферополя и займет его, разве это не сломает всего хода войны? — обратился к Омеру-паше Канробер. — Ведь Горчаков не отнесется к этому равнодушно, и, если стремительными маршами не подойдет к вам помощь ваша армия погибнет в кратчайший срок, — ее придется вычеркнуть из списков. А чтобы выручить ее, необходимо будет снять отсюда большие силы; но таким образом мы приходим неизбежно к полученному мною новому плану войны, к движению на тот же Симферополь, но уже не от Евпатории, а от Алушты.

— То есть через горы, — уточнил Раглан не без иронии. — Не будем спорить, что движение от Евпатории ровной и пустой степью опасно, но чем же лучше движение горами, покрытыми лесом?

— Именно это и является предметом нашего совещания, милорд.

— Если день начала наступления со стороны Евпатории может быть передан Горчакову шпионами, то наступление от Алушты, которому должна еще предшествовать высадка десанта, даже и не от шпионов утаить нельзя, — усмехнулся Омер-паша. — И тогда леса на горах могут вдруг ожить и загреметь залпами.

— Этот вариант совершенно невозможен! — решительно согласился с Омером-пашой Раглан.

— Если признать за Горчаковым возможность защищать перевал через горы, — да, он опасен, — подтвердил Канробер. — Но имеется в виду, что Горчаков в это время будет занят не только участью Севастополя, а еще и движением из Байдар к Бахчисараю. Ему будет тогда совсем не до Алушты, которой и сейчас он не придает никакого значения: по нашим сведениям, там всего две сотни казаков охраны... От Севастополя Алушта лежит довольно далеко; от Симферополя — вдвое-втрое ближе, всего пятьдесят километров неплохого шоссе... Два пеших перехода — и Симферополь захвачен.

— Там до двадцати километров подъема в гору, — заметил Омер-паша.

— Что же это за препятствие для наших зуавов?..

— Второй вариант, то есть движение на Бахчисарай от Байдар, мне

представляется все-таки гораздо меньшим из этих двух зол, — недовольно подытожил Раглан, но Канробер заметно повеселел после этих слов маршала

Англии.

— Прекрасно, милорд! — подхватил он. — Движение на Бахчисарай вам представляется более мотивированным? Этим движением, по предположению его величества, лучше всего и можете руководить именно вы!

— Я? — очень удивился Раглан, так как это не было ему известно. — Как же могу я бросить свою армию здесь, под Севастополем?

— Для командования всем вообще осадным корпусом оставляется генерал Пелисье, — ответил Канробер. — Что касается меня, то на меня падает задача осуществить движение от Алушты с сорокатысячной армией исключительно французских частей, к которой придается десант в двадцать пять тысяч резерва, расположенного ныне под Константинополем. Итого под мое командование должно стать для движения от Алушты всего шестьдесят пять тысяч... Достаточно ли будет этих войск, или мало, покажет будущее. Под ваше командование, милорд, должны будут стать, во-первых, все сардинцы, затем пять тысяч французских солдат, десять тысяч турецких и, наконец, двадцать пять тысяч английских...

Услышав это, Раглан не в состоянии был усидеть на месте. Он встал, отошел к окну, в которое, кстати сказать, за сильным дождем почти ничего не было видно, и молчал.

Ему хотелось сказать очень многое и прежде всего то, что даже французский император не имеет права распоряжаться им, главнокомандующим английской армией, и пытаться снимать его со всею его армией с позиций под Севастополем для каких-то безграмотных стратегических авантюр, но, так как сказать это было невозможно, он предпочел молчать и молчал долго, пока Канробер, желая затушевать как-нибудь это неловкое молчание, оживленно разъяснял Омеру-паше план Наполеона, касавшийся непосредственно турецких

войск:

— Считая наличные силы турецкой армии в сорок тысяч человек, его

величество, отчисляя десять тысяч в состав армии лорда Раглана, остальные тридцать тысяч включает в осадный корпус генерала Пелисье... Так что в этом корпусе будет поровну, по тридцать тысяч, французов и турок, не считая разных нестроевых, которых наберется, пожалуй, до десяти тысяч.

— Хорошо, но к чему ж в таком случае сведется моя личная роль как главнокомандующего армией его величества султана? — очень изумился Омер-паша.

— Вы будете, конечно, при своей армии, — ответил Канробер. — При тридцатитысячной, — дополнил он.

— То есть в корпусе, которым будет командовать Пелисье?.. Просто, генерал Пелисье? — едва сдерживаясь, допытывался Омер-паша.

— Генералу Пелисье, по плану его величества, будет принадлежать общее руководство осадным корпусом, — замялся Канробер.

— Следовательно, я поступлю под команду генерала Пелисье? Так я вас понял?

Канробер сделал тот полуутвердительный, полунедоумевающий жест, который красноречивее слов, и Омер-паша, как и Раглан, вскочил с места и вызывающе сложил на груди руки.

III

Четвертого главнокомандующего — Ла-Мармора — Канробер не приглашал на совещания, что было вполне объяснимо: Ла-Мармора только что прибыл в Крым, и обстановка военных действий была ему знакома только по картам, не говоря уже о том, что удельный вес его армии был незначителен.

Однако и с Рагланом и Омером-пашой Канробер, как ни старался, договориться до согласия выполнить безоговорочно план Наполеона не мог. Чувствуя свою личную неавторитетность в их глазах, он вынужден был доносить Наполеону: «...В таких важных обстоятельствах я не могу не сожалеть, что мы не имеем генералиссимуса — человека, уполномоченного высшею властью и имеющего достаточную опытность, чтобы над всем господствовать».

Наконец, он пришел к мысли, что лучше всего в его положении сложить с себя ответственность за выполнение нового плана войны,

который не то чтобы не сулил крупного и быстрого успеха, но представлялся во всяком случае очень трудным.

Коренным образом меняя облик ведущейся уже восемь месяцев войны, делая ее из позиционной маневренной, этот план отрывал большие армии от их баз, вынуждал их обзаводиться обозами, бросал их в такие местности внутри Крыма, которые русским были известны гораздо лучше...

Оспаривая по обязанности главнокомандующего французской армией возражения своих союзников, Канробер в глубине души был с ними совершенно согласен. Мысль о генералиссимусе его не оставляла. Не надеясь на назначение его из Парижа, Канробер решился обратиться к Раглану с предложением взять на себя если не звание генералиссимуса, то его роль. Не стоило большого труда уговорить и Омера-пашу в дальнейшем подчиняться приказаниям Раглана как старшего среди равных.

Канробер понимал, конечно, что одним даже подобным предложением Раглану он уже выходит из своих полномочий, что это может вызвать взрыв негодования в Париже, но у него, так ему казалось, не было других возможностей, кроме одной, последней: отказаться от звания главнокомандующего и стать снова начальником дивизии, то есть, выполняя чужие приказания, не нести по крайней мере за них ответственности перед императором, Францией, историей. Вообще Канробер успел уже убедиться в том, что он личность не историческая, что в этом судьба ему решительно отказала.

Однако как раз в том же самом начал давно уже убеждаться относительно самого себя и лорд Раглан, точнее, он почти уже убедился в этом.

Мечтать свойственно и здоровой старости. Раглан отправлялся в Крымскую экспедицию полный надежд на быстрое завершение войны и уже видел имя свое в ореоле там, в незначительном отдалении. Он, правда, был осторожен в своих выражениях и осмотрителен в поступках, но очень большой вес придавал и тем и другим и не допускал мысли, чтобы они не производили должного впечатления.

Но уже весьма недешево доставшаяся победа на Алме заставила его сильно задуматься, а 5/17 октября, день первой бомбардировки

английской осадной артиллерией третьего бастиона, прозванного им Большим реданом, когда этот бастион был, казалось бы, сравнен с землею и ураганным огнем и взрывом и все-таки остался неприступен, привел Раглана к признанию, что русские — противник более чем серьезный.

Инкерман, когда вся английская армия была на грани полного истребления, поразил его чрезвычайно, а начавшаяся после того кампания против него в английской прессе не только оставила в нем вполне понятную горечь, но еще и породила сознание своей неспособности, своего бессилия справиться с обстоятельствами, которые сложились так несчастливо.

После этого он, хотя и произведенный в маршалы, старался держаться на втором плане, в тени. Большой редан, на который обращены были в течение семи месяцев все его усилия и который тем не менее стоял непоколебимо, начал казаться ему отлитым из бронзы.

Он чувствовал себя уже «побежденным главнокомандующим» почти в той же мере, в какой испытывал это Меншиков после потери Инкерманского сражения; и вдруг Канробер предложил ему быть старшим, то есть сам отдавал в его опустившиеся руки бразды ведения всей войны.

Раглан был гораздо больше изумлен этим, чем обрадован; он решительно отказался. Однако Канробер проявил настойчивость в убеждениях, что только он один в состоянии поднять это тяжкое бремя. Умилительна при этом была также и величайшая скромность французского главнокомандующего: себе он отказывал чуть ли не во всех военных способностях.

Раглан обещал подумать и, наконец, согласился при том условии, если теперь же все траншеи англичан против Большого редана будут заняты французами. Теперь настала очередь Канробера прийти в изумление.

По плану Наполеона армия англичан действительно должна была оставить позиции против третьего бастиона, причем даже не полностью французами тогда замещались там англичане, а частью и турками. Но англичане освобождались таким образом для полевых действий, как вполне пригодные для этой цели и надежные войска, и

сам же Раглан становился не только во главе их, но также и сардинцев, и французов, и турок; англичане предназначались на роль ядра его сборной армии.

Между тем Раглан отнюдь не давал ни согласия своего на план Наполеона, ни даже хотя бы сдержанного одобрения его. Зачем же потребовал он как платы за то, что он согласился быть старшим между равными, замены англичан французами? Хотел доставить своему корпусу возможность отдохнуть, оправиться за счет французов?

Раглан уклонился от объяснений, что вынуждает его к такому странному торгу и как он думал действовать дальше. Однако Канробер пустился было доказывать ему, что такая замена невозможна, что длина траншей, занимаемых французами, и без того громадна, требует большого количества войск, которые ежедневно несут чувствительные потери. Раглан знал это и сам, но был непреклонен.

Тогда Канробер решился на последний шаг. Утром 4/16 мая он отправил в Париж из Георгиевского монастыря по кабелю на Варну депешу на имя Вальяна с просьбой сложить с него по болезни звание главнокомандующего, которое он не в состоянии больше нести.

Он писал: «Обязанности к престолу и отечеству вынуждают меня просить дозволения передать это звание Пелисье, генералу способному и весьма опытному. Армия, которую я передам ему, освоена с войною, неутомима и воодушевлена. Прошу императора позволить мне остаться только во главе дивизии».

Справедливость требует сказать, что далеко не всякий военачальник способен найти в себе силы сам уступить свое место другому и перейти к нему же в подчинение. Это было отмечено в ответе военного министра, полученном в Камыше через два дня:

«Император согласился на вашу просьбу, жалеет, что ваше здоровье так расстроено, и благодарит вас за чувства, внушившие вам желание остаться при армии. Вы назначаетесь не командиром дивизии, а корпуса генерала Пелисье, которому и передайте звание главнокомандующего».

Однако даже и пост командира корпуса пугал Канробера тем, что был очень ответствен. С разрешения Пелисье он принял начальство над своей прежней дивизией, входившей теперь в корпус генерала Боске.

IV

Лет на пять моложе Раглана, то есть в начале седьмого десятка, невысокий, но полный, с полуседыми, коротко остриженными волосами и белой уже эспаньолкой, но очень подвижной, живой и с молодыми глазами, Пелисье свой боевой опыт получил там же, где и Канробер, и Боске, и многие другие французские генералы, — в Африке, в Алжире, где в последние годы был начальником штаба при Ламорисьере и Бюжо. Все экспедиции против марокканцев проходили при его непосредственном участии. Всеобщую известность во Франции приобрел он тем, что усмирил восстание горцев совершенно исключительным способом. Он приказал зажечь огромное количество хвороста перед пещерами в горах, где они скрывались; задушенные дымом, погибли при этом пятьсот марокканцев, оставшиеся в живых вынуждены были сдаться, и восстание прекратилось. Однако такая жестокая, бесчеловечная мера вызвала негодование и в обществе и в печати по адресу Пелисье, так что даже военный министр, маршал Сульт, вынужден был писать маршалу Бюжо, нельзя ли ему укротить своего начальника штаба, чтобы не позволял он себе впредь подобных, совершенно зверских поступков, иначе придется вызвать его в Париж и судить. Бюжо оказался всецело на стороне Пелисье и писал в ответ: «Война и политика — не филантропия, и лучше ударить сильно один раз, чем бить долгое время».

Ударить сильно один раз по Севастополю, то есть предпочесть, — чего бы он ни стоил, — общий штурм длительной осаде, было основной мыслью Пелисье и тогда, когда он был назначен сюда как корпусный командир. Но все попытки его провести, осуществить эту мысль разбивались о вялость Канробера.

Теперь наконец-то он становился хозяином положения, но план Наполеона, сваливший Канробера своей невыполнимостью, противоречил всем установкам Пелисье и в то же время звучал ни больше ни меньше, как приказ императора, который должен быть выполнен.

Пелисье сделал вид, что план, присланный Канроберу, не касается его; он решил забыть о существовании этого плана и начать

осуществление своего со всей энергией, на какую был способен.

Став 7/19 мая главнокомандующим, он выпустил приказ по французской армии. Обращаясь к солдатам, он писал в нем:

«Солдаты! Моя уверенность в вас беспредельна. После многих испытаний и стольких благородных жертв нет ничего невозможного для вашей храбрости. Вы знаете, чего ожидают от вас император и отечество. Оставайтесь теми же, какими были до сих пор, и тогда благодаря вашей энергии, при поддержке наших доблестных союзников, при мужестве храбрых моряков наших эскадр и с божьей помощью мы победим!»

Послав телеграмму Вальяну, Канробер вслед за нею послал и подробное письмо самому Наполеону о том, как был принят Рагланом и Омером-пашою его новый план войны. Он не считал нужным что-нибудь утаивать при этом; он решил писать честно. План был подвергнут всестороннему разбору с целью доказать его неосуществимость, но письмо это получено было Наполеоном сравнительно поздно, когда Пелисье приступил уже к выполнению своих планов.

Прежде всего, чтобы создать воодушевленное единство действий, он постарался очаровать главнокомандующих союзных армий своею любезностью, не забыв при этом раздуть кадило и перед Канробером, хотя и отлично знал, в какие отношения стали к нему в начале мая и Раглан и Омер-паша.

Большая часть его первого приказа по войскам представляла собой панегирик Канроберу: «Солдаты! Наш прежний главнокомандующий объявил вам волю императора, который, по его ходатайству, поставил меня во главе Восточной армии. Принимая от императора командование этой армией, бывшее столь долго в таких благородных руках, я скажу прежде всего, выражая наверно общие чувства, что генерал Канробер уносит с собою наше глубокое сожаление и полную признательность.

Никто из вас не забудет, чем мы обязаны его высокому сердцу! К блистательным воспоминаниям Алмы и Инкермана он присоединил еще ту незабвенную заслугу, — может быть, незабвеннее самих побед, — что во время страшной зимней кампании сохранил нашему государю

и отечеству одну из лучших армий, какую когда-либо имела Франция. Ему обязаны вы тем, что можете бороться, не уступая, и торжествовать. И если успех, — в чем я убежден, — увенчает наши усилия, вы не забудете его имени в своих победных кликах.

Он пожелал остаться в наших рядах, и, хотя мог бы получить высшее назначение, он ищет только возвратиться к своей старой дивизии. Я уступил желанию и настоятельным просьбам того, кто был до сих пор нашим главнокомандующим и останется всегда моим другом».

Если даже у бездеятельного и отставленного Канробера были найдены вдруг такие большие заслуги в деле ведения войны с Россией, то можно представить, сколько нашел Пелисье достоинств у старого лорда Раглана и Омера-паши во время совместного с ними обсуждения ближайших военных действий.

Конечно, он немедленно согласился с Рагланом, что экспедиция в Керчь и Азовское море, отмененная Канробером, совершенно необходима, и тут же приказал тем же самым частям, какие были выделены раньше, то есть дивизии д'Отмара, садиться на транспорты, а самому д'Отмару быть в подчинении у начальника английской дивизии генерала Броуна, друга Раглана.

Омера-пашу он постарался расположить в свою пользу, неумеренно расхваливая его действия в Дунайскую кампанию и при защите Евпатории; Ла-Мармора — тем, что восторженно отзывался о его корпусе, в избытке снабженном всем необходимым для ведения войны, и будто бы поражался бравым видом его солдат.

Но, рассыпая комплименты направо и налево, Пелисье уверенно захватывал в свои руки общее руководство союзными армиями, то есть делал то, что совершенно не удалось Канроберу, а численность всех войск интервентов дошла в это время до двухсот тысяч, причем больше половины приходилось на долю французов, — именно сто двадцать тысяч человек, считая и тех, кто находился вне строя.

Всю эту массу прекрасно вооруженной силы, почти вдвое превосходившей силу Горчакова, Пелисье намерен был твердо держать в своих руках, чтобы в нужный момент создать ей необходимое единство действий.

Что же касается старшего командного состава французской армии —

корпусных и дивизионных командиров, — то он собирал их на совещания как бы для того, чтобы поставить перед ними ясную и определенную цель дальнейших действий: овладеть укреплениями впереди Малахова кургана, а вслед за этим броситься в крупных силах на штурм этого сильнейшего бастиона, ключа Севастополя, и захватить его.

Поставив перед собою этот план, Пелисье из двух корпусов, как это было при Канробере, сделал три корпуса — два осадных и резервный, то есть значительно увеличил действующие силы; увеличил также и число батарей против Корабельной.

Но план, присланный Наполеоном и сваливший Канробера, состоял совсем не в этом, а в переходе к маневренной войне, чтобы разбить и уничтожить вспомогательную армию Горчакова и, овладев Крымом, обложить Севастополь со всех сторон.

Принадлежал ли этот план Наполеону? Он, правда, был прислан из Парижа самим Наполеоном, но создан был всецело на основании многочисленных подробнейших донесений инженер-генерала Ниэля, который пользовался таким доверием Наполеона, что считался первым кандидатом на пост главнокомандующего, в случае если бы Канробер получил отставку. Однако вышло так, что Канробера заменил не он, а Пелисье; естественно было Ниэлю считать себя незаслуженно обойденным, и неминуемо было столкновение между ним и новым главнокомандующим. Столкновение это и произошло на одном из совещаний Пелисье со своими генералами.

— Я слышу тут, — сказал Ниэль, придав себе изумленный вид, — обсуждение старого плана войны, но ни слова еще почему-то не слышал о новом плане, присланном императором.

— Это происходит потому, — сдержанно ответил Пелисье, — что план войны нельзя менять во время войны без большого ущерба для дела: такова, как вам известно, азбука стратегии. Раз употребили уж столько усилий для достижения одной цели, надобно сделать последнее и овладеть Севастополем путем штурма.

— Путем штурма? Однако этот штурм, по всем данным, должен окончиться неудачей, а при известном упорстве русских обойдется нам в слишком дорогую цену! Без полного обложения города взять его

нельзя. Как генерал-адъютант императора я являюсь здесь представителем идей и планов его величества и обязан напомнить вам, что планы императора должны неукоснительно выполняться...

— Генерал! — вскочил с места с загоревшимися глазами и закричал Пелисье. — Вы числитесь в армии, главнокомандующим которой назначен я и тоже именем императора! Никаких представителей и хранителей идей и планов императора, кроме меня, в армии не может и не должно быть! Главнокомандующий и подчиненные ему — вот вся армия! Кто такой вы? Адъютант императора? Нет! Здесь вы только мой подчиненный и обязаны повиноваться мне! Если же вы будете и впредь говорить то, что я только что от вас слышал, я приму против вас самые строгие меры, знайте это! При первом же гласном противоречии мне я вышвырну вас из армии, мне вверенной, вон!.. Вы пользуетесь каким-то странным правом непосредственно сноситься по телеграфу и письменно с императором? А я запрещаю вам это, — вы слышите?

Конечно, несмотря на запрещение сноситься с Наполеоном, выраженное столь категорически и резко, Ниэль тут же известил об этом Наполеона по телеграфу.

Наполеон не замедлил заступиться за своего адъютанта и за план войны, который считал своим. Он прислал Пелисье одну за другой несколько телеграмм, в которых требовал полного обложения Севастополя. Пелисье отвечал уклончиво, что очень трудно, а иногда даже и невозможно обсуждать быстротекущие обстоятельства войны по телеграфу.

«Дело не в обсуждении, а в приказаниях, которые даются, получаются и должны быть исполнены», — отвечал ему Наполеон, и Пелисье оставалось только на деле доказать неопытному теоретику войны, что война — предприятие обоюдоострое и не подчиняется указаниям извне, а имеет свои законы, свои неудачи или успехи в зависимости от того, с каким именно противником она ведется.

Уже через несколько дней после того как Пелисье сделался главнокомандующим, ему представлялся случай применить свою тактику штурма, проверенную в Алжире, — обрушиваться на

атакуемого не только превышающими его численно, а совершенно подавляющими силами, чтобы при любом, самом отчаянном сопротивлении, способном вызвать большую потерю людей, штурм все-таки завершился бы удачей. Пелисье вынес из своего долгого военного опыта одно — непреложное: жертвы войны, сколько бы их ни было, искупаются успехом военных действий.

Глава третья. Ночь на кладбище

I

Дня через три после праздника Охотского полка Хрулева вызвал к себе Горчаков, который теперь бросил уже инженерный домик около бухты и переселился гораздо дальше, на Инкерман, верст за шесть от Севастополя, так как дальнобойные орудия с английской батареи «Мария», бывшие дальше, чем на четыре километра, стали частенько посылать ядра на Северную, а у Горчакова был, не в пример Меншикову, огромный штаб, очень чувствительный к ядрам. На этих высотах бивуакировала дивизия Павлова перед злополучным днем Инкерманского сражения, потом сюда переведена была на отдых 16-я дивизия, а до войны здесь, недалеко от развалин древнего Инкермана, действовала почтовая станция. Постройки этой станции и были заняты Горчаковым под штаб-квартиру. Кроме того оборудовали кругом для многочисленных адъютантов и ординарцев уютные землянки, а несколько поодаль забелели солдатские палатки.

Здесь было и безопасно, и в то же время это был центр расположения вспомогательной для севастопольцев армии. Отсюда открывался вид и на Сапун-гору, и на долину Черной речки, и на Федюхины высоты.

Против деревни Чоргун, откуда в октябре Меншиков следил за Балаклавским сражением, размещались теперь новоприбывшие сардинцы по соседству с французами; французы же прочно заняли и Федюхины высоты, очень деятельно укрепляя их скаты, обращенные к речке.

Хрулев видел эти работы и раньше, теперь же его опытные глаза артиллериста отмечали желтеющие брустверы там, где прежде их не

было, и это заставляло его озабоченно приглядываться к тому, что делалось у своих. Он знал, что здесь тоже строятся редуты, но эти редуты — так ему казалось — были слишком разбросаны, чтобы служить надежной защитой при нападении противника в больших силах. Впрочем, нападения с этой стороны он не ожидал, как не ожидал его и Горчаков.

Дорога, по какой он ехал верхом, шла у подножия невысоких гор; направо, по берегу Большого рейда, установлено было в линию, одна за другою, несколько батарей. Иногда они перестреливались с батареями интервентов, но теперь молчали, как молчал их ближайший противник — редут Канробера, разлегшийся на одном из скатов Сапун-горы.

Орудия здесь молчали, зато разноголосно упражнялись флейтисты, горнисты, барабанщики, фаготисты и другие из музыкантских команд разных частей, так как музыка в лагере по вечерам играла ежедневно, кроме того, ежедневно же тот или иной оркестр отправлялся в город играть на бульваре Казарского.

На одной из гор влево от дороги торчал маяк — высокий шест с веревками, что-то вроде корабельной мачты с вантами^{92}, а около него паслись тощенькие казачьи лошаденки и виднелись покрытые хворостом землянки офицеров. Это был главный наблюдательный пункт; отсюда следили за неприятелем и на Сапун-горе, и на Федюхиных высотах, и в долине Черной речки: только эта самая, ничтожная в летнее время, Черная речка и разделяла две обсервационные армии — русскую и союзную.

Дорога была оживленная: часто попадались навстречу то офицеры верхом, то казаки из конвоя Горчакова, то троечные фуры, то небольшие группы солдат... Так встретила Хрулеву и команда человек в пятьдесят пластунов, которую вел молодой хорунжий.

Кавказские папаха и бурка Хрулева (день был довольно прохладный) еще издали притянули к себе возбужденное внимание пластунов, как и самого Хрулева заставил остановиться уже один вид команды кубанцев, совершенно неожиданных на Северной стороне.

Хрулев поздоровался с пластунами; те ответили хотя и громогласно, но нестройно и сбивчиво, не определив точно, в каком он может быть

чине.

— Какого батальона, братцы? — спросил Хрулев, обращаясь, впрочем, к одному только хорунжему.

В Севастополе было два батальона пластунов, теперь уже сильно поредевшие.

— Тільки що прибыли, ваше прэвосходительство, — рассмотрев, что перед ним генерал, а не войсковой старшина, ответил хорунжий.

— Откуда прибыли? С Кавказа, что ли?

— Так точно, пополнение з охотників, ваше прэвосходительство!

— А-а, вон в чем дело! Это хорошо, благодетели: давно мы вас ждем; очень вы нужные нам тут люди, только что чертовски вас мало... Молодцы, молодцы!.. А ты где же это потерял свое оружие? — заметил он вдруг одного пластуна без винтовки.

— Так что попал в плен к черкесам, ваше прэвосходительство, они и отняли винтовку, а другой уж мне не дало начальство, — несколько сконфуженно ответил пластун.

Певучий говор и чисто русский склад речи этого пластуна очень удивили Хрулева. Рослый, плечистый, сероглазый, стоял этот пластун прямо перед ним, в первой шеренге. Необыкновенной длины кинжал в ножнах, слаженных из трех кусков старых вытертых ножен, торчал у него спереди, а черкеска его решительно вышла уже из всех допустимых сроков давности и едва не сползала с плеч.

— Постой-ка, постой, братец! Ты, значит, не хохол, а кацап, так, что ли? — оживленно и улыбаясь спросил Хрулев.

— Звістно, из кацапів, — поняв, что допустил большую оплошность, забывчиво на вопрос, заданный по-русски, по-русски же и ответив, совершенно потерялся было пластун, но тут же оправился, когда этот черноусый генерал в бурке воскликнул обрадованно:

— Да ты для меня, братец, чистый клад в таком случае!.. А как же тебя из плена выручили?

— Сам бежал, ваше прэвосходительство, — снова и невольно переходя на русский язык, бойко ответил пластун.

— Ну, ты мне будешь нужен, братец!.. Как фамилия?

— Чумаков Василий, ваше прэвосходительство!.. Або Чумаченко, — добавил пластун.

— Ну, в какой бы он там батальон ни попал при распределении, пришлите его ко мне, к генералу Хрулеву, на Корабельную, — обратился Хрулев к хорунжему. — А еще лучше сами придете с ним вместе.

— Слухаю, ваше прэвосходительство, — отковырял хорунжий. — Когда прикажете?

— Хотя бы даже и сегодня вечером: чем скорее, тем лучше.

Хрулев послал своего белого коня вперед, а Терентий Чернобровкин, ставший Василием Чумаковым — «або Чумаченко», на Кубани, оглядываясь ему вслед, раздумывал, к добру для себя или к худу встретил он этого генерала Хрулева, чуть только удалось ему добраться до Севастополя, и зачем именно понадобилось этому генералу, чтобы он, пластун-волонтер, пришел к нему в этот день вечером. Мелькнула было даже и такая мысль: не родич ли какой он помещику Хлапониному?.. Впрочем, эта мысль так же быстро и пропала, как возникла: не приходилось никогда ему видеть такого в Хлапонинке... На всякий случай все-таки спросил он у хорунжего, для каких надобностей звал его к себе генерал. Хорунжий ответил:

— А мабудь ув дэнщики чи що...

— Як же так в дэнщики? — опешил Терентий. — Хиба ж я ув Севастополь за тім и просився, щоб в дэнщики?

— Э-э, так на то ж вона и служба! — недовольно буркнул хорунжий.

Это был тот самый хорунжий, который дал Терентию трехрублевую ассигнацию, когда он, переправившись через Кубань, сидел голый около незнакомого ему поста. Фамилия его была — Тремко, и Терентий из понятного чувства благодарности к нему за то, что не приказал он тогда задержать его и отправить в Екатеринодар «для выяснения личности», а даже помог ему одеться и взял в свою команду, часто и охотно услуживал ему во время пути, но ведь это не называлось быть денщиком, это он делал по доброй воле.

Распределять небольшое пополнение пластунов по батальонам предоставлено было старшему из батальонных командиров, войсковому старшине Головинскому, неоднократно руководителю вылазок, ходившему теперь, опираясь на палку по случаю раны в ногу.

Василий Чумаченко, хотя и не состоящий даже в списках новоприбывших пластунов, ему понравился, и он, только спросив о нем хорунжего, хороший ли он стрелок, зачислил его в свой батальон. Но, отправившись вечером на Корабельную вместе с Тремко, Чумаченко не застал там генерала в папаше: Хрулев получил от Горчакова назначение на Городскую сторону, так как там замечена была секретными усиленная деятельность противника перед Кладбищенской высотой, то есть рядом с теми самыми контрапрошами, которые были взяты французами в ночь на 20 апреля.

II

Убыль в полках была велика, пополнения же если и были, то ничтожные, так что и самые названия эти — полк, батальон, рота — потеряли свое привычное значение.

В таком, например, боевом полку, как Волынский, вместо четырех тысяч человек оставалось уже не больше тысячи; во всех полках 11-й дивизии: Камчатском, Охотском, Селенгинском, Якутском, так, как и в полках 16-й — Владимирском, Суздальском, Углицком и Казанском, — не насчитывалось уже больше, как по полторы тысячи в каждом; знаменитый Минский полк был почти так же малочислен, как и Волынский; с полками 11-й равнялись по числу людей и полки 10-й дивизии, бывшей Соймоновской, — Колыванский, Екатеринбургский... Когда один из полков был переведен для отдыха с Южной стороны на Северную и Горчаков вздумал сделать ему смотр, он увидел перед собою только три батальона и то далеко не полного состава.

— А где же ваш четвертый батальон? — недовольно спросил он у командира полка.

— Пал смертью храбрых во славу русского оружия, ваше сиятельство!
— ответил полковник.

Это побудило Горчакова приказать Остен-Сакену переформировать особенно пострадавшие полки севастопольского гарнизона. Так появились к маю полки двухбатальонного состава, а из Волынского вышел всего только один батальон. Лишние знамена отосланы были на хранение в тыл.

Хотя подкрепления, отправленные из армии Лидерса, и начали уже

подходить в Крым в апреле, Горчаков знал, конечно, что они недостаточны, и остро чувствовал свое бессилие, чтобы от обороны перейти в наступление против вдвое сильнее и прекрасно вооруженного противника.

Преимущество интервентов было прежде всего в том, что их силы оставались по-прежнему собранными, его же — распыленными по всему Крыму, так как отовсюду мог он ожидать нападения на свои тылы.

Два Врангеля, оба бароны, оба генерал-лейтенанты, были поставлены на страже доступов в центр Крыма: один — со стороны Евпатории, другой — со стороны Керчи; пятнадцать тысяч пехоты и кавалерии было у первого, десять — у второго. Генерал-адъютант Ред командовал резервом для действующих армий, расположенным частью в Бахчисарае, частью в Симферополе; у него было всего до двадцати тысяч: в Симферополе одна только кавалерия, в Бахчисарае — пехота. Кроме этого, был еще особый Бельбекский отряд, рассыпанный по побережью от Алмы до Северной стороны на случай десанта интервентов; наконец, брат главнокомандующего князь Петр Горчаков занимал со своим отрядом Мекензиевы горы — к востоку от Инкерманских высот — из опасения непосредственного обхода неприятелем левого фланга основных сил.

В Крыму в меньшем виде, но зато с большей наглядностью повторялось как раз то же самое, что наблюдалось тогда в остальной Европейской России, и на ее северо-западных, западных и южных границах, и на Кавказе: все эти границы числились под ударом, везде нужны были войска.

Между тем дерзкие замыслы только и подлинные возможности западных держав, а в особенности Австрии, разграничивались русской дипломатией того времени очень слабо, и призрак нашествия с запада, гораздо более могущественного, чем даже нашествие Наполеона I, пугал не одних только присяжных дипломатов школы Нессельроде и угасающего от старческих немощей в своей Варшаве Паскевича; он пугал прежде всего и военного министра князя Долгорукова и самого императора Александра.

Александр знал, что его родной дядя, брат прусского короля, принц

Вильгельм, который ввиду болезни короля все больше и больше овладевал государственными делами Пруссии, отнюдь не являлся другом России, о чем говорил вполне откровенно, и очень легко мог поставить вдруг благодаря своей сильной военной партии Пруссию не только рядом с Австрией в ее домогательствах, но и с Францией, Англией и другими прямыми противниками России.

Горчаков, чем дальше, тем усиленнее просил Долгорукова и царя о подкреплениях, которые ближе всего было взять в оставленной им Южной армии, у генерала Лидерса. Но Южная армия охраняла Бессарабию от посягательств Австрии, занявшей уже смежные с ней Молдавию и Валахию. Если горизонты Крыма были в непроницаемом пороховом дыму, то зато из Петербурга ясно было видно, что чуть только армия Лидерса будет ослаблена еще хотя бы на одну дивизию, австрийцы двинут свои войска в Бессарабию и займут ее... временно конечно, но все-таки...

Об этом писал Горчакову Долгоруков, и Горчаков в ответ предлагал пойти на все уступки Австрии на венских конференциях, чтобы только удержать ее от агрессивных шагов и тем развязать руки армии Лидерса и спасти Крым.

Только Крым; спасти Севастополь Горчаков не обещал ни Долгорукову, ни самому царю. Даже больше того: он писал, что находит наиболее умным не защищать Севастополь, очистить его, чтобы сберечь свои живые силы для защиты остального Крыма.

Это, правда, был шаг вперед по сравнению с Меншиковым, который не надеялся отстоять и Крыма, но все-таки даже и Меншиков полагал, что Севастополь будет взят штурмом, а не очищен добровольно.

Письмо Горчакова царю о необходимости бросить Севастополь подкреплялось обычными для него ссылками на то, что все дело в корне испортил Меншиков, он же, Горчаков, является не больше как «козлом отпущения» и просит снять с него ответственность перед Россией за недалекое уже падение Севастополя.

Это письмо вызвало такой ответ Александра, отправленный в начале мая:

«К сожалению, я должен с вами согласиться, что положение

Севастополя и его геройского гарнизона с каждым днем делается более и более опасным и что помочь этому нет никакой возможности. Уповаю на одну милость Божию.

Насчет ответственности вашей перед Россией, если суждено Севастополю пасть, — совесть ваша может быть спокойна: вы наследовали дела не в блестящем положении, сделали с вашей стороны для поправления ошибок все, что было в человеческой возможности; войска под вашим начальством покрыли себя новою славою, беспримерною в военной истории, — чего же больше? Прочее в воле Божией.

Бросить теперь же Севастополь, не дождавшись штурма, хотя, может быть, с одной стороны, и представляет некоторые выгоды, но, с другой, оно столь затруднительно в физическом исполнении и в моральном отношении может иметь столь пагубные последствия, что я радуюсь, что вы мысли этой не дали ходу.

То, что вы пишете военному министру насчет уступок с нашей стороны при венских переговорах для скорейшего достижения мира, нами уже сделано, покуда оно совместно с достоинством России. На дальнейшие уступки я ни под каким видом не соглашусь, ибо вот уже второй год, что благодаря этой системе, вместо того чтобы удержать Австрию в прежнем направлении, она делалась все невоздержаннеев своих требованиях и, наконец, почти совершенно передалась на сторону наших врагов. При всем том, видя, что мы не боимся войны с нею, я не полагаю, чтобы она решилась открыто действовать против нас.

Посему разрешаю вам, если вы признаете нужным, передвинуть часть Южной армии к Перекопу или даже в самый Крым. Решаюсь на это в том уважении, что лучше жертвовать Бессарабией, чем потерять Крымский полуостров, которого обратное овладение будет слишком затруднительно или даже невозможно».

Основываясь на этом письме, Горчаков немедленно же приказал двинуть форсированным маршем из армии Лидерса в Крым 7-ю дивизию и несколько резервных бригад.

Вечером 5 мая Хрулев побывал в ложементх перед пятым бастионом, люнетом Белкина и дальше, по направлению к Карантинной бухте. Кладбищенский холм, очень похожий по форме на Зеленый Холм (Кривую Пятку) Камчатского люнета, сразу привлек его внимание опытного артиллериста: отсюда, если бы здесь установить батарею, можно было бы открыть убийственный фланговый огонь против траншей, захваченных французами в апреле, и заставить их бросить эти траншеи. В то же время и французы, по мнению Хрулева, не могли не видеть, что кладбище, если бы они его захватили, дало бы им огромные преимущества. Работы, которые они вели, конечно, к этому именно и клонились. Получалось как раз то же самое, что было на подступах к Малахову в конце февраля, когда французы подбирались к Кривой Пятке: видно было, что руководит ими одно и то же лицо — именно генерал Ниэль.

Но тогда Тотлебен предупредил Ниэля, заложив Камчатку. Тот же Тотлебен, который сопровождал Хрулеву, высказал мысль, что кладбище должно быть захвачено русскими полками как можно скорее, иначе через несколько дней на нем будет французская батарея, и такие улицы города, как Екатерининская, Морская, окажутся под губительным огнем.

Задача эта оказалась слишком серьезной, чтобы за решение ее взялся Сакен, поэтому на другой же день Хрулев снова отправился к Горчакову вместе с Тотлебенем.

Меншиков всячески избегал совещаний. Представляя в Крыму «лицо императора» Николая, он стремился быть самовластным в Крыму, как Николай во всей России. Принятое им решение он старался проводить в жизнь, не считаясь с чужим мнением о том, хорошо оно было или не очень. Он знал заранее, что ему не удастся отстоять Севастополь, и он все равно будет осужден и царем, и Россией, и историей, как бы обдуманно ни вел он оборону города; как пишется история, он знал тоже.

Полной противоположностью ему был друг его юности Горчаков. Чужие мнения он впитывал жадно, как губка воду, и без них обойтись не мог. Но даже и утвердившись в какой-нибудь одной мысли, он при всей феноменальной рассеянности своей не забывал все-таки

правила, что любая мысль нуждается в неоднократной проверке: иногда он вскакивал среди ночи и будил своего начальника штаба генерала Коцебу, чтобы услышать от него еще и еще раз, правильно ли он, Горчаков, думает о том-то и о том-то. Перед важными же решениями он, кроме того, долго молился богу, горячо и коленопреклоненно.

В религиозности он весьма немногим уступал начальнику севастопольского гарнизона Сакену, и многочисленным попам около него жилось недурно.

Мысль Хрулева и Тотлебена выдвинуться перед пятым бастионом на Кладбищенскую высоту тут же с приезда их была передана Горчаковым на совещание нескольких генералов, так как в нем самом после потери траншей 20 апреля не осталось уже и следа бывшего увлечения контрапрошной системой обороны.

Генералы в большинстве высказались за то, что выдвинуться следует, что не нужно упускать удобного момента, что это значительно усилит оборону... Однако не в манере Горчакова было решать затруднительные вопросы с одного лишь совещания. На следующий день у него в штаб-квартире были собраны генералы в гораздо большем числе. Мнения поделились, правда, но большинство высказалось за то, что кладбищем надобно овладеть и непременно его оставить за собою в случае штурма со стороны противника. Вспоминали на совещании и русского солдата: говорили, что он гораздо больше любит наступать, чем защищаться, а выдвижение вперед хотя бы и на сто сажень — не то же ли наступление?

Когда отобраны были все мнения, Горчаков заговорил сам, уныло покачивая сильно вытянутой кверху, но узкой головой:

— Зря все это, зря!.. Бесполезно, совершенно бесполезно... Лишняя трата людей... Тут говорилось о русском солдате, что он больше любит, идти или сидеть... Я должен заметить, меня наш солдат не перестает удивлять тем, как он приобьик к бомбардировкам! Он достоин высшей похвалы, господа, он совершенно закалился для теперешнего вида войны... И я вполне надеюсь, что он также хорош будет в поле, — вот где, — при защите внутреннего Крыма... Беречь нам надо солдата, беречь, а не то чтобы самим его сознательно

тратить на эти там разные эфемерные выдвигания!.. Бесплезно все это. Зря.

Казалось, что сказано было решительно и что он, Горчаков, главнокомандующий, совершенно не согласен с мнением большинства собранных им генералов и не допустит никаких работ впереди пятого бастиона. Генералы переглянулись.

Недоумевающе поглядев сперва на Хрулева, а потом уж переведя выпуклые серые глаза на Горчакова, Тотлебен привстал над столом, слегка изогнувшись:

— Разрешите мне, ваше сиятельство, сделать маленькое возражение на ваше замечание — совершенно и исключительно по сути дела... Разумеется, можно и не тратить людей на проектируемое выдвигание, но однако... что же может воспоследовать в результате этого шага? Только то, что кладбище будет занято французами, и тогда-то именно и начнется подлинная трата людей с нашей стороны решительно безо всякой пользы для дела, ваше сиятельство!.. Ведь вся цель выдвигания нашего в том именно и заключается, чтобы меньшими потерями были предотвращены гораздо большие... Это не говоря даже вовсе об ущербе, который причинен будет неминуемо городу, — об очень большом ущербе! Городу и даже судам нашего флота...

Горчаков, слушая его, так нетерпеливо жевал губами и блистал стеклами очков, что Тотлебен умолк вдруг.

— Для французов, опять для французов будем строить траншею! — почти выкрикнул Горчаков, пристукнув о стол длинным указательным пальцем. — И они возьмут, — будьте покойны на этот счет! — и могут даже нам потом благодарственный адрес прислать! Ведь для них это будет клад, находка, — траншея готовая, устроенная руками не ихними, а безропотных русских солдат!

— Эта находка, однако, обойтись им может в дорогую цену, ваше сиятельство, — сказал Хрулев.

— А нам? А нам в какую? — так и вскинулся, обернувшись к нему, Горчаков. — Если даже и в равную, все равно мы в проигрыше большом будем! Мы вдвое слабее противника и равных с ним потерь иметь не смеем, — вот что мы должны помнить! Это, это, это — не смеем! — И Горчаков снова, теперь уже явно предостерегающе,

постучал пальцем и посверкал очками. — Выдвинуться посредством эполементов вдоль по Кладбищенской высоте, поставить там орудия и защищать высоту, которая очень важна, разумеется, для нас, в чем я не спорю, — это одно, но совсем другое дело траншея в целую версту длиною! Подумать только, сколько надо людей, чтобы отстоять такую траншею!

— Тысяч восемь, не больше, — сказал Хрулев.

— Вот видите, вот видите — восемь тысяч! — трагически вздернул узкие плечи Горчаков. — Ведь это вы в большое сражение хотите ввязаться! Нет, этого я не могу допустить, как хотите! Не могу, не могу и не могу!

Казалось, что затея Хрулева и Тотлебена совершенно осуждена главнокомандующим и провалилась, однако совещание кончилось тем, что решено было все-таки устроить траншею. Контрапрошная система восторжествовала вновь, впрочем, только затем, чтобы совершенно потом померкнуть. Горчаков разрешил строить контрапроши в ночь с 9 на 10 мая, но не позволил их защищать, если французы вздумают немедленно их отбивать и выведут в дело большие силы.

Вместо восьми тысяч, просимых Хрулевым и Тотлебенем, Горчаков отрядил для работ и прикрытия только пять с половиной: два полка — Подольский и Эриванский — и два батальона Житомирского полка.

Хрулев был назначен командовать этим отрядом.

IV

Была ночь — безветренная, теплая, туманная и рабочая: работали русские солдаты, огибая траншеей склон Кладбищенской высоты, обращенный к неприятелю, работали и французы, в нескольких десятках шагов от них роя окопы. И как для русских не было тайной, что делают французы, так и тем более для французов не были тайной работы русских. Напротив, они были до того желанны высшему командованию французской армии, что даже на артиллерийскую пальбу, открытую в поддержку русским рабочим с пятого бастиона и с люнета Белкина, французские батареи почти не отвечали: нельзя было мешать тому, что делалось как бы по заказу самого Пелисье, уже давшего приказ командиру первого корпуса, генералу де Саллю, зорко

следить здесь за действиями русских и выжидать удобнейшего момента для своих действий.

Между тем как кирки и мотыги долбили неподатливую каменистую землю, а лопаты выбрасывали ее, образуя вал, с ровным шумом хотя и сдержанной, но все-таки большой работы, в которой занята не одна тысяча человек, приказания здесь, на кладбище, отдавались шепотом, так как за работами следило несколько генералов: кроме самого Хрулева, тут был и начальник штаба гарнизона Васильчиков, и глухой Семякин, и бригадный командир Адлерберг, и, наконец, Тотлебен, как бы подчеркивая этим, что работам придается большая важность.

Наступило утро, и траншея в версту длиной была готова. Несколько облегчало работу то, что здесь уже тянулись ложементы, заложенные еще зимою. Когда Хрулев обходил новую линию контрапрошей утром, чрезвычайно поразило его, что в рапортах начальников различных участков работ ничего не говорилось о потерях от неприятельского огня: потерь совсем не было.

Тактика противника стала ему понятна. Встревоженно присвистнув и сдвинув папаху на затылок, что было у него признаком беспокойства, он взобрался на высшую точку кладбища и долго наблюдал отсюда французские траншеи. Он разглядел там рабочих, но на его глазах эти рабочие уходили по тем зигзагообразным ходам сообщения, которыми изрезана была поверхность земли. Они уходили, выполняя чей-то предусмотрительный приказ, и из отбитых в апреле у русских траншей. Так очищать траншеи могли французские солдаты только затем, чтобы вполне свободно было их батареям открыть сильнейший огонь по новым русским контрапрошам.

— Ну, Константин Романыч, жаркое дело будет сегодня ночью! — прокричал на ухо Семякину возбужденный Хрулев, вернувшись с обхода линии.

— Как так? Неужели уже сегодняшней ночью? — оторопел Семякин. — Неужели вы думаете, что не дадут укрепиться?

— Нет, не дадут, это уж верно... Надо готовить им приличную встречу. И пошел распорядиться лично кое-чем, что считал необходимым для крупного рукопашного боя, главное же он был озабочен вопросом о резервах, так как считал свои силы слабоватыми для защиты довольно

длинной и пока еще далеко не законченной линии траншей.

Приступая к работам, он все-таки не думал, что французы будут так спешить штурмовать их: это заставляло его врасплох. Неприятно было также и то, что в какой-то мере оказывался прав Горчаков, к которому не питал он уважения, и была жгучая досада на него, отмерившего ему отряд такой скупой мерой.

Хрулев не знал еще того, что французская армия имела уже нового главнокомандующего и что утром же 10/22 мая этот новый главнокомандующий сам приезжал на позиции перед Кладбищенской и Карантинной высотами, внимательно осмотрел линию только что появившихся русских контрапрошей и приказал де Саллю в эту же ночь овладеть ими и повернуть против русских, — Хрулев не знал этого, но большой военный опыт и без того верно подсказал ему, шахматисту, ближайший ход противника.

Рабочих убрали из новых траншей и вовремя это сделали: французы открыли ураганный огонь не только по траншеям, но и по пятому бастиону; а когда начал поддерживать батареи бастиона люнет Белкина, то и он был засыпан снарядами.

Канонада гремела целый день и была жестокой, а под ее прикрытием части французской дивизии генерала Патэ уже засветло заняли параллели против кладбища: этой дивизии было приказано произвести штурм чуть только совершенно стемнеет, и колонна генерала де Ламотт-Ружа сосредоточилась здесь, а другая колонна — бригадного генерала Бёре — у Карантинной бухты. Кроме того, в эту бухту с вечера зашли французские пароходы, чтобы содействовать своей пехоте огнем во фланг русским. А между тем для защиты траншей против Карантинной высоты Хрулев не нашел возможным выделить из своего отряда больше чем три батальона: два житомирцев и один эриванцев, — остальные же семь должны были отстаивать кладбище.

V

Как и накануне, в первую линию секретов были высланы пластуны, чуть только стемнело и канонада стала гораздо слабее; за ними залегли в ложементы охотники Подольского полка. Наконец, в

траншеях против кладбища оставалось на день семьдесят человек стрелков; о них тоже вспомнил Хрулев и послал на смену тем, кто из них мог уцелеть, новую команду штуцерных.

Среди пластунов в передовом секрете лежал и Терентий Чернобровкин, он же Василий Чумаченко. Это в третий уже раз он назначался в секреты, точно был старый многоопытный пластун.

К генералу Хрулеву, исполняя его же приказ, хорунжий Тремко приводил Терентия на другой день после того, как они его не застали, однако Хрулев был занят по горло и только сказал на ходу хорунжему, чтобы непременно привел он к нему этого кубанского пластуна-кацапа через несколько дней, что именно такой самый ему и будет нужен со временем, так как он думает завести у себя в полках команды пластунов из пехотных солдат, а среди солдат молодцы, годные для этого, есть не из одних же только украинцев; однако же если приставить к русским в дядьки пластуна из щирых казаков, то едва ли много поймут они из его речи, а этот пластун-кацап к тому же видно, что речист.

Но тот, кого наметил в дядьки к солдатам Хрулев, сам в первую ночь сплосал: он вздумал ни больше ни меньше как закурить трубку, лежа в секрете, и только старший над ним, Савелий Ракша, вовремя предотвратил преступление, а потом выговаривал ему строго:

— Чи ты здурів, люльку курить у секреті, га?.. Як в ціпу лежимо, ну, тоді... Так и то ж черкеску на голова натягнуты треба, а ты у секреті!..

И хотя Терентий пытался оправдаться, что лежал-то ведь он в яме, так что не видно было ни на волчий глаз огня, а искру выбивал под пушечный выстрел, затянуться же думал всего один раз только, но Ракша перебил его, негодуя:

— Э-э, ось слушайте, люди, шо дурной балакае!.. А дым від тютюна? Хиба же він его не почуе?

«Він» — это был неприятель, которому Терентий, одержимый мучительной жаждой курева, вздумал отказать в чутье...

Во вторую ночь было уже не до трубки: это была строгая ночь, — шли работы с обеих сторон. Лежа очень близко к неприятельским окопам, Терентий отчетливо слышал, как трудились французы, не уступая в этом русским солдатам; он понимал всем нутром своим, что готовится

с обеих сторон немаловажное дело, и очень часто по-старому, по-деревенски, покручивал головою.

Слишком резок переход был для него от Хлапонинки к плавням Кубани, однако несравненно резче и круче оказался этот последний переход от плавней к севастопольским бастионам. И он очень хорошо понимал своего друга Трохима Цапа, когда тот говорил ему на другой день во время ожесточенной канонады, оторопело глядя на чугунную тучу снарядов, закрывшую небо:

— Хиба ж це сражение?.. Це якась вельке душегубство!

Канонада этого дня совершенно оглушила и потрясла Терентия, как и всякого новичка, попадавшего в Севастополь во время усиленной бомбардировки.

У пластунов на пятом бастионе был свой блиндаж, в котором полагалось спать им днем, чтобы могли они чутко слушать и зорко впиваться глазами в темноту ночью: они были ночные птицы. Но Терентий пока еще даже и представить не мог, как можно было спать в блиндаже, когда в нем дрожали земляные стены от рвавшихся кругом, а иногда и на его крыше снарядов и от гулких огромных ядер из осадных орудий.

На обстрелянных старых пластунов, способных спать даже и не в блиндаже, а около него на свежем воздухе, несмотря на бешеную пальбу с обеих сторон, глядел он с детским недоумением. Он и думать не смел, что недели через две так же, как и они, будет он засыпать под канонаду, а просыпаться, когда наступит вдруг тишина, и уже совершенно спокойно будет глядеть на разможенные ядрами или разорванные на части снарядами тела солдат. Теперь же это его пугало: он горестно морщился, приседал от внезапной дрожи в коленях, закрывал глаза или отворачивался и по-деревенски безнадежно махал рукой, когда это видел.

Случалось, попадались ему на глаза носилки с убитым или раненым офицером, — тогда он почему-то ярче вспоминал своего «друга» Хлапонина Митрия Митрича. Он не сомневался в том, что гораздо раньше его прибыл в Севастополь Хлапонин со своей заботливой женой, и ему очень хотелось поглядеть на него хотя бы издали, однако не только не нашлось времени поискать его здесь, но даже не

у кого было спросить о нем.

Хорунжий Тремко, когда он обратился к нему за советом, как бы разыскать офицера Хлапони́на, спросил его, какого рода оружия этот офицер, и Терентий, к стыду своему, должен был ответить, что не знает. Действительно, зачем и нужно было ему знать это там, у себя в деревне? Да и сам Хлапонин счел, должно быть, лишним рассказывать ему, был ли он в пехоте, или в кавалерии и в каком именно полку.

Что на пятом бастионе его не было, в этом Терентий убедился, спрашивая солдат и вглядываясь в лица их офицеров; но ведь бастионов и редутов было много, кавалерия же совсем не стояла в Севастополе.

«Домашние мысли в дорогу не годятся» — это Терентий как следует почувствовал не на Кубани, а только здесь, в Севастополе, среди непрерывного грохота пальбы, среди разрушений, увечий и смерти кругом. Здесь о жене и детях, брошенных им в Хлапонинке, думал он гораздо меньше, чем на Кубани и по дороге сюда: как бы то ни было, там было им куда спокойнее, чем было бы здесь, там они были сохраннее.

Здесь же был враг, многочисленный и хорошо оснащенный, и следить за тем, что намерен предпринять враг в эту ночь, отправился чуть только стемнело вместе с другими пластун Василий Чумаченко.

Темнота была влажная, — напал туман с моря, как и в прошлую ночь; однако он не задерживался, полз дальше и часто редел до того, что становилось можно кое-что разглядеть шагах в двадцати. Услышать же ничего было нельзя, так как безостановочно гремели осадные орудия противника, а им отвечали мортиры с пятого бастиона.

— Дывись дужче, Васыль! — сказал ему на ухо подползший справа Савелий Ракша. — Мабудь тэпэр шо-сь таке будэ...

Чумаченко невольно расширил глаза до отказа и действительно немного времени спустя заметил, что темнота впереди почему-то густеет четырехугольником, надвигается, шевелится.

Васыль толкнул Ракшу, тот дернул за рукав черкески Васыля, и оба они проворно поползли назад к цепи подольцев, поднимая тревогу: «Враг идэ!»

А как раз в это самое время, — было всего только половина десятого, — Хрулев отправлял в траншею с пятого бастиона и редута Белкина батальоны рабочих и батальоны охранения их и они выходили через ворота и калитки укреплений.

Французы шли дружно по всей линии по одной общей команде, под звуки рожков, и по всей линии, несмотря на туман, в котором увязал, сгущая его, орудийный дым, поднялась встречная ружейная пальба отходящей цепи подольцев перед Кладбищенской высотой и житомирцев — перед Карантинной.

Но эта слабая пальба явилась как бы сигналом для сильнейшего орудийного гула с французских батарей, прикрывавших наступление своих колонн, а им в ответ участили стрельбу батареи пятого бастиона и редуты Белкина и Шемякина. И тут же потонули в сплошном гуле мортир и пушек ружейные выстрелы; видны были только слабенькие огонечки, вспыхивавшие и гаснувшие в дыму, точно «огни святого Эльфа» на болотах.

Хрулев видел, что он предупрежден французами, что непростительно опоздал выдвинуть из укреплений собранные еще засветло войска. Теперь он торопил их, срывая с себя папаху, махал ею и нервно мял ее в темноте, дергал то вправо, то влево своего коня, кричал сразу сорвавшимся и охрипшим голосом:

— Барабанщики, бей беглый марш!.. Горнисты, труби!..

Подольцы и эриванцы, как рабочие роты, так и прикрытия их, шли самозабвенно, лишь бы поспеть занять свою траншею, однако было уже поздно. Всего несколькими минутами раньше их двинулись бегом в атаку передовые части французских колонн, вскочили в траншею, раздавили жиденькую цепочку штуцерных в ней и приготовились уже к горячей встрече спешивших русских рот...

Добегали уже до гребня высоты подольцы, бывшие впереди эриванцев, когда гребень этот засверкал вдруг изгибисто, точно затрепетала в дыму и тумане зарница над самой землей. Залпов ружейных не было даже и слышно за раскатами пушечных залпов, но люди падали в передних шеренгах десятками, а другие бежали под барабаны вперед, то и дело натываясь на тела упавших товарищей.

Стон раненых так же не было слышно, как и штуцерной пальбы, и

только ноги чувствовали то здесь, то там мягкое живое тело, да чужие руки снизу хватались за носки и каблуки сапог, инстинктивно отталкивая их, чтобы не раздавили лица.

Быть может, и генерал Адлерберг, который вел Подольский полк, упал, только раненный штуцерной пулей одним из первых, а потом был просто задавлен стремительно бегущими вперед рядами солдат. Но в темноте не видно было никаких начальников, а за канонадой не слышно их команды: шла возбужденная масса солдат русских отбивать у захватчиков построенные ими траншеи и, добравшись, наконец, до них, кинулась вперед остервенело с этим «а-а-а-а», которое, отлетев от целого «ура», способно долго звенеть, вопить, стонать запальчиво на одной только, самой сильной для каждого голоса ноте.

Много потерь было у подольцев от ружейных залпов, пока добежали они до французских стрелков, красные шапочки которых то и дело озарялись вспышками выстрелов, но вот и траншея, — врезались в нее, и закипел страшный в темноте штыковой бой.

Темнота, впрочем, была неполной, потому что светилось небо, точно падучими звездами, тысячами снарядов, сыпавших красные искры из своих трубок.

Всего только несколько минут ожесточенного боя могли выдержать французские егеря и бежали из занятой траншеи все, кто не остался лежать в ней или около, проколотый штыком.

Тогда французская пехота уступила своей артиллерии честь и место, артиллерия же подготовилась к этому на славу, удивляя русских огромным количеством припасенных для этого ядер и бомб. Сплошной и широкий чугунный поток обрушился сверху на пятый бастион, ломая все и взрывая. Поддерживая соседа, один только люнет Белкина, отвечая одним выстрелом на три, на четыре выстрела противника, выпустил в эту ночь три тысячи снарядов... Всего одно бомбическое орудие было на этом люнете, и тому пришлось поработать сверх меры: четыреста выстрелов сделано было из него за ночь!

Однако, несмотря и на такой огонь, сомкнутые в колонны резервы с той и с другой стороны подходили к траншее. Генерал де Ламотт-Руж двинул батальоны гвардейцев, только незадолго перед тем прибывших

из Константинополя в Крым. Не обстрелянные еще императорские гвардейцы шли добывать себе славу. Этот рослый красивый народ по чьему-то почину даже дула винтовок своих забил грязью, чтобы не стрелять из них, а встретить русские штыки своими штыками.

На них белели перевязи, в смутной темноте похожие на белые ремни от ранцев, какие были у всех пехотных русских солдат, и когда они появились перед траншеей на кладбище, подольцы при слабых отблесках сверху от летящих над головой снарядов приняли было их за русских.

Они начали кричать гвардейцам:

— Вы кто такие, говори!.. Наши, что ли?.. Наши иль нет? Признавайся! Наши?

— Наш, наш! — кричали в ответ, подхватив одно это часто повторявшееся слово, гвардейцы передних отрядов, поджидая в то же время, когда подбегут задние.

Упущено было, может быть, не больше минуты, пока подольцы, оставшись почти без офицеров, поняли, что перед ними французы, и открыли, наконец, беспорядочную стрельбу; однако эта минута была решающей. Подольцев после первой жестокой схватки оставалось уже не так и много, они устали, немало из них было раненых, не покинувших строя, а на них кинулись свежие силами батальоны отборнейших людей французской армии.

Штыковой бой был упорный, как всегда, когда дрались русские, но силы были слишком неравны, и подольцы были выбиты из траншеи.

— Вот, братцы, валит! Вот валит валом! — кричали о неприятеле отступавшие подольцы эриванцам, спешившим им на выручку.

Однако не бежали подольцы; отступив, они поспешно строились, чтобы броситься снова на тех, которые обманули их своими белыми перевязями и тем, что, подходя, не стреляли.

Гвардейцы сопротивлялись довольно долго; они решили не проигрывать своего первого боя с русской пехотой, но все-таки вынуждены были очистить траншеи под натиском эриванцев. И пока накапливались французами силы для новой схватки на кладбище, еще ожесточеннее поднялась канонада.

VI

Хрулев метался.

Уже по одному только ураганному огню, открытому французами с самого начала их атаки, он, артиллерист, понял, насколько старательно, беспронижительно была подготовлена эта атака. Конечно, такому огню должны были соответствовать и пехотные массы французов.

— А мне дали всего-навсего пять тысяч! — возмущенно по адресу Горчакова кричал он, обращаясь то к Семякину, начальнику этого участка оборонительной линии, то к Тотлебену, который не уходил с пятого бастиона, обеспокоенный участком траншей, построенных по его плану.

Было всего только около полуночи, когда Хрулев получил донесение с правого фланга, что траншея там уже занята французами. Генерал Бёре сразу кинул на штурм большую половину своих сил и задавил многолюдством два жидких батальона житомирцев; они отступили к шестому бастиону и редуту Шемякина.

— Резервов, резервов надо, а то и здесь то же самое будет! — ожесточаясь, кричал Хрулев.

Тотлебен наскоро выстроил четвертый батальон эриванцев и послал его на подмогу первым двум, которых к полуночи успели уже выбить подоспевшие новые силы французов.

Этот батальон ударил особенно стремительно. Он не только очистил русские траншеи и ложементы, он гнал французов до их траншеи, ворвался в переднюю, разорил ее... Успех атаки эриванцев взбодрил подольцев, они разобрались в своих ротах, построились, и траншеи на кладбище снова и, казалось бы, прочно были заняты русскими.

Далеко перевалило за полночь, когда де Ламотт-Руж, собрав все свои резервы, решился на новую атаку.

С полчаса длилась артиллерийская подготовка. Картечь, как полоса града, метко направленная на гребень Кладбищенской высоты, косила подольцев и эриванцев.

— Что же это за оказия такая! Прямо податься некуда — как сыпет! — кричали солдаты и, неся большие потери, подавались назад.

Брошенные в атаку французские батальоны заняли злополучную

траншею уже в пятый раз в эту ночь. Но из ворот пятого бастиона выступали в поле два батальона боевых минцев.

Это был тот неположенный для защиты кладбища резерв, который Хрулев вымолил у Сакена. Минцы стояли в прикрытии пятой бастиона так же, как и Углицкий полк, и их Хрулев направил отстаивать кладбище, а семь рот углицких послал на правый фланг отбивать Карантинную высоту у французов.

Силы эти были небольшие, правда, — и тех и других едва набиралось полторы тысячи, — зато они были последние, больше уже некого было бы послать в эту жадную пасть рукопашного ночного боя. Зато и минцы и углицкие за себя и за других постояли.

Два пятна лежало уже на чести Углицкого полка за эту войну. Первое, когда, находясь в резерве, отступал он с Алминского поля битвы, и отступление было так похоже на бегство, что Меншиков заставил этот полк идти под звуки церемониального марша; второе, когда в апреле ему поручена была защита новой траншеи против редута Шварца, и он ее не отстоял и отошел после первой же схватки.

В эту ночь семь углицких рот смыли пятна полка своею кровью: из семисот человек вернулось не больше половины и только восемьдесят среди них нераненых; офицеры же все были выведены из строя. Но эти семь рот дрались богатырями: они не только выбили французов из захваченной ими траншеи, но ворвались на их плечах в их траншею и там произвели большое опустошение, а когда пришел их черед отступать, они отступали шаг за шагом и лицом к противнику, втрое превосходившему их силой... Это было уже к утру. Начал брезжить рассвет, и число бойцов с той и с другой стороны уже поддавалось кое-какому определению на глаз.

Минцы появились перед кладбищенской траншеей тогда, когда французы уже считали ее своею. К ним между тем шли еще свежие подкрепления, и все-таки натиск минцев оказался неожиданно для них слишком стремителен.

Гвардейцы нового, вызванного из последнего резерва батальона, егеря, роты иностранного легиона — все сгрудились около траншеи с одной стороны, а с другой — вновь и вновь собирались на поддержку минцев отброшенные было подольцы и эриванцы, и этот

предрассветный бой превзошел все предыдущие по своему упорству. И с той и с другой стороны это был бой солдат одной нации с солдатами другой, так как офицеры, если и оставались еще в небольшом числе, не имели возможности руководить ими.

Ожесточение обеих сторон достигло предела. Рычание, ругань, звяканье штыка о штык, страшное действие прикладов, брызги чужой крови, слепящие и без того полужрячие в темноте глаза, предсмертные стоны, вопли тяжело раненных, свалившихся под ноги бойцам, — все это было непередаваемо по своему напряжению, и все-таки русские одержали верх в этой последней схватке, в пятый раз и уже окончательно заняв свои траншеи и преследуя бегущих французов до их траншей.

Однако наступал рассвет. Хрулев послал приказ отступить, оставив на день в траншее не свыше полтораста стрелков. Уполовиненные ночными боями Подольский, Эриванский и Минский полки возвращались на пятый бастион; но это было не отступление. Это был марш победителей. Солдаты шли под песни. Впереди минцев шагал высокий унтер-офицер Пашков, полковой запевала, со страшным лицом, закопченным пороховым дымом, забрызганным запекшейся кровью, в мундире, разодранном штыками в семи местах, и, заломив фуражку-бескозырку на правый бок, затягивал тенором необыкновенной чистоты и силы:

Э-э-эх, выезжали Саша с Машею гулять

Д'на четверке на була-а-аных лоша-дя-ах!

А минцы все, сколько их оставалось, подхватывали душевно и с присвистом:

Эй, жги, люли-люли-люли-люли

Д'на четверке д'на буланых лошадях...

Следом за минцами со своими песнями шли эриванцы, за ними — подольцы, и, может быть, именно эта неожиданность, неслыханность, необычайность — песни вдруг тут же после кровопролитнейшего штыкового боя, длившегося целую ночь, — так подействовали на французских артиллеристов, что они не сделали ни одного выстрела по русским ротам, возвращавшимся на свою оборонительную линию в плотных колоннах, по местности вполне открытой и при белом

рассвете.

Но канонада, и сразу жестокая, началась снова, чуть только все роты до последней скрылись в укрепленном районе.

VII

Кладбищенская траншея оставалась весь этот день занятой только русскими стрелками. Она вся была завалена трупами; трупами же и тяжело ранеными были покрыты и все подступы к ней с обеих сторон. Канонада же со стороны французов имела очевидную цель ослабить русские батареи, заставить замолчать как можно больше орудий, чтобы с большим успехом, чем накануне, провести штурм кладбища и овладеть им.

Действительно, де Саль назначил для этого другую дивизию своего корпуса, так как потери дивизии Патэ оказались неожиданно велики. То же самое мог бы, конечно, сделать и Горчаков; назначить новые три-четыре полка для новой защиты траншеи, но он предпочел сделать иначе.

Когда капитан-лейтенант Стеценко, проводив в марте вместе с подполковником Панаевым князя Меншикова до Николаева, вернулся в Севастополь, он просился на бастионы и получил должность траншей-майора на первой дистанции. В его ведении были пехотные команды, назначаемые в прикрытие.

Однако эту должность он занимал недолго; вскоре он был сделан начальником всей артиллерии первой дистанции, имевшей около двухсот пятидесяти орудий.

В первую дистанцию входили пятый и шестой бастионы, а также люнет Белкина, редуты Шварца, Шемякина и другие. Состояние артиллерии этих укреплений не могло не занимать Горчакова, когда затевалось такое серьезное дело, как устройство контрапрошей на кладбище и на Карантинной высоте, бывших уже под вполне определившимся ударом со стороны французов, поэтому и Стеценко вместе с генералами был приглашен на совещание в штаб-квартиру.

И если кто наиболее обоснованно возражал против плана Хрулева и Тотлебена, то это был именно Стеценко, хотя ему предложено было высказаться только о том, что надобно сделать по части артиллерии,

как лучше ее усилить и снабдить, чтобы с честью выдержала она ратоборство с очень мощными батареями французов.

И Стеценко говорил долго и с полным знанием дела. Артиллерия, по его словам, была в общем слаба особенно на шестом бастионе и таких редутах, как Шемякина, Чесменский, Ростиславский, и на батареях лейтенантов Эльсберга и Бутакова, на которых много было орудий устарелых, вытасненных на свет из Арсенала только ради большой оказии. Питание же орудии, бывшее сносным до сих пор, может оказаться совершенно недостаточным для серьезной большой бомбардировки, которая неминуема при затеваемом большом деле. После такого вступления естественно напрашивался вывод: как можно будет удержаться пехоте в наскоро сработанной траншее, если и в основательно устроенных укреплениях держаться приходится с большим трудом?

Мнение скромного на вид и небольшого ростом капитан-лейтенанта было опровергнуто тогда авторитетными голосами генералов, утверждавших, что настало время приступить к контросаде и создать второй пояс выдвинутых редутов наподобие Волынского, Селенгинского, Камчатского, и это мнение одержало верх. Но результаты ночного боя 10–11 мая, доведенные до сведения Горчакова, заставили его вспомнить выводы Стеценко, которые к тому же совпадали с его личным мнением о запоздалости всей вообще контрапрошной системы обороны.

Даже по приблизительному подсчету потери, понесенные русскими полками в эту ночь, оказались велики: они доходили до двух с половиною тысяч. Однако по яростной канонаде, начавшейся с утра 11 мая, Горчаков видел, что французы, потери которых не могли быть меньше, готовы идти на еще большие, лишь бы овладеть русской траншеей на кладбище.

Несомненная важность, которую французское командование признало за этой позицией, заставляла и Горчакова колебаться с окончательным решением весь этот день, и только к вечеру, когда от Шемякина пришло донесение, что на пятом бастионе осталось уже мало годных к делу орудий, а редут Шемякина приведен к полному молчанию, Горчаков послал приказ Тотлебену отправить с

наступлением темноты на работы в траншею на кладбище всего только два батальона Житомирского полка, и если замечено будет, что неприятель вновь наступает большими силами, то чтобы батальоны эти отступили, не ввязываясь в сражение, артиллерия открыла бы самый сильный огонь, на который способна.

И батальоны житомирцев вышли как бы на работы в траншею, — солдаты одного из них несли с собою шанцевый инструмент, но работать в эту ночь не пришлось: пластуны уже в девять часов вечера передали, что «враг идэ!». Однако трудно было удержаться от того, чтобы не встретить залпами атакующих. Под натиском десяти батальонов генерала Левальяна житомирцы отступали медленно, и к потерям предыдущей ночи прибавилось еще около пятисот человек; столько же выбыло и из вражеских рядов.

Кладбище осталось за французами.

VIII

Это был как бы символ, что старое севастопольское кладбище мирных времен защитники Севастополя уступили противнику без нового кровопролитного боя: на Северной стороне росло, расширяясь непомерно, другое, Братское кладбище, исторический смысл которого день ото дня становился очевиден для всех и огромен.

Если старое кладбище было только кладбищем контрапрошной системы, весьма запоздало предписанной Горчакову Николаем, то новое, Братское, на Северной, росло как кладбище всего николаевского режима.

Старое же кладбище расположено было на высоте, которой Ниэль, руководивший осадой, придавал особую важность. Здесь совпали желания оскорбленного и оскорбителя — Ниэля и Пелисье; и когда первый заявил, что если русские удержатся на кладбище, то осада города станет невозможной, второй, жаждавший энергичнейших действий, собрал для удара по кладбищу огромные огневые средства и подавляющие людские силы; а Горчакову пришлось вставить в донесение о бое 10–11 мая многозначительную фразу: «Неприятель сделался и умнее и смелее».

Горчаков опасался, что, захватив кладбище, французы кинутся на

штурм четвертого и пятого бастионов, и уже заранее не надеялся их отстоять, о чем и писал в донесении царю: «По самому свойству этих верков и по прилегающей к ним местности их нельзя будет отстоять, если огонь артиллерии будет потушен. Если же неприятель их возьмет, то выбивать его из них будет тоже в высшей степени трудно: к ним с нашей стороны надлежащего доступа не будет, ибо удобных к ним подходов для движения резервов не существует и устроить их невозможно. Мы уповаем на бога, но надежды на успех я имею мало. Прежние ошибки неприятеля послужили ему уроком, а превосходство его сил и средства, коими он располагает, огромны».

Так к нескольким главнокомандующим с той и с другой стороны, побежденным уже в этой войне, присоединился всего только через два месяца по своем прибытии в Крым и князь Горчаков.

В полдень 12/24 мая объявлено было перемирие для уборки трупов, и на шестом бастионе заплескал белый флаг.

На полуфурки, выехавшие из ворот укреплений к месту ночных боев, клали трупы, накрывали их черными от кровавых пятен брезентами и везли через город на Николаевский мыс, где складывали их рядами. К ним подходили сердобольные, вкладывали им в руки церковные копеечные свечки, молча вглядывались им в лица, крестились... Здесь эти трупы ждали своей очереди, когда погрузят их на баржу и переправят на Северную. Братские могилы для них копали арестанты; хоронили их без гробов, по десять — пятнадцать в ряд и по несколько рядов в одной могиле.

Правда, гробовщики ютились тут же, на кладбище, в наскоро сделанных ими самими шалашах, около которых сложен был штабелями привезенный издалека тес для гробов, но теса этого было немного, и гробы стоили у них дорого. Они доступны были по ценам только офицерам, которые брали на себя похороны своих полковых товарищей.

Первый перевязочный пункт, где работали Даша и Варя Зарубина, кроме нескольких сестер милосердия, присланных в разное время из Петербурга, был завален ранеными еще накануне; иные из них пришли на своих ногах, другие были доставлены санитарями. До семисот ампутаций пришлось сделать в один только этот день врачам.

Десятки раз опоражнивались служителями большие лохани, стоявшие в углах операционной, в которые бросали отрезанные руки и ноги.

Среди захваченных в плен около траншей французов оказался один швейцарец, тяжело раненный, простой рядовой из иностранного легиона. Врачи забывчиво заговорили около него по-французски, что он в сущности совершенно безнадежен и над ним висит уже смерть, так что если делать ему операцию, то исключительно в целях очистки совести.

И раненый — он был совсем еще юноша — обратился к ним сквозь слезы:

— Не надо, господа! Спасибо вам, что вы сказали, как близка моя смерть! Избавьте же себя от лишнего труда, а меня от лишних мучений... И очень прошу вас, господа, не думайте, что я питал какую-нибудь ненависть к русским, когда шел волонтером... Я пошел служить только затем, чтобы заработать своей старой и бедной матери кусок хлеба... Я старший в большой семье... Мы очень бедно жили... Оставьте меня в покое, чтобы я мог хотя подумать перед смертью о своей матери, братишках, сестренках, которые, может быть, умирают теперь от голода на моей родине в то время, когда я умираю здесь от пули...

Когда Варя со слезами на глазах перевела Даше, что говорит этот молодой французский солдат, та сказала было запальчиво:

— А чего лез сюда к нам? Вот и получил пулю! — однако и ее глаза, неожиданно даже для нее самой, застлали слезы.

Среди всех, привычных, впрочем, уже для Вари, ужасов битком набитого ранеными дома бывшего Дворянского собрания она улучала все же иногда время подойти к умирающему французскому легионеру, и умер он на второй день утром, прижимая холодеющей рукой ее руку к своим посинелым губам.

Пять часов тянулось перемирие. Пять часов многочисленные рабочие с той и с другой стороны разбирали навороченные около траншеи и в траншее горы трупов. Всюду на валах бастионов и редутов стояли и смотрели на совершенно чистое теперь от дыму поле недавней битвы солдаты и матросы.

Случилось, что на шестой бастион проведать мужа, комендора

Шорникова, пришла матроска со своим сынишкой лет десяти. Бойкий матросенок упросил отца пойти туда посмотреть, что там делают.

Матрос пошел с ним. Когда появился он на линии оцепления, там двое дежурных — свой мичман Еланский и француз офицер с молодой чернявой бородкой и в замшевых перчатках — оживленно говорили между собой на незнакомом ему, Шорникову, языке.

«Эх, не сболтнул бы мичман этот чего не надо!» — озабоченно думал, поглядывая на него, Шорников. А француз между тем, посмотрев на Шорникова, что-то залопотал мичману, кивая головой в узкой фуражке с большим козырьком.

— Это что же, обо мне, что ли ча, он спрашивает, ваше благородие? — сурово обратился Шорников к юному своему начальнику.

— Спрашивает, неужели есть еще матросы в Севастополе, — улыбнулся комендору Еланский.

— Скажите ему, ваше благородие, что нас еще на два года с остаточком хватит, пускай знают, — прошептал Шорников.

Мичман перевел. Француз рассыпался в комплиментах русским матросам-артиллеристам, потом вытащил из кошелька франковую монетку и протянул мальчику, погладив его при этом по успевшим уже выцвести от солнца рыжеватым косицам.

Мальчик вопросительно поглядел на француза, потом на монетку, потом на отца и уже готов был опустить в единственный карман своих куцых штанишек эту занятную штуковинку, когда отец приказал ему строго:

— Отдай назад!..

— Дядя! На! — протянул мальчик монетку французу, но тот попятился, замахав руками, — он как будто даже обиделся этим.

Потом он стремительно нагнулся к мальчику, начал целовать его в загорелые чумазные щеки и, наконец, потянул его за руку к себе, показывая на французскую сторону, стараясь, чтобы он понял его без переводчика, по одним жестам.

И матросенок понял. Он уперся босыми ногами в край ямы от небольшого ядра, тянул в свою очередь французского офицера к себе и кричал:

— Нет, ты иди к нам! Ты иди к нам!

Так они возились с минуту — матросенок с Корабельной и французский офицер, и последний был так увлечен этой возней и так заразительно смеялся, что не только юный мичман, но даже и суровый, закопченный пороховым дымом комендор Шорников начал улыбаться в рыжие усы.

Однако истекало и истекло время перемирия. Заиграли рожки. Надобно было возвращаться на бастион, с которого уже готовились снять белый флаг.

Жестокое лицо войны, на несколько часов прикрытое этим флагом, открывалось снова во всей своей омерзительной серьезности.

Глава четвертая. Разгром Керчи

I

Немалые силы были отправлены новым главнокомандующим французов — конечно, от лица и Раглана и Омера-паши — в Керчь как раз в тот день, когда очень старательно подготовлялся им штурм Кладбищенской и Карантинной высот. Кроме семи с половиной тысяч французов и трех тысяч англичан, посажено было на транспорты еще и шесть тысяч турок, и флотилия в семьдесят почти судов отплыла в экспедицию, теперь уже решенную твердо и бесповоротно.

Ожидал или нет нападения на Керчь Горчаков, но при нем керчь-еникальский военный госпиталь переполнился ранеными, которых везли сюда из Севастополя.

В конце апреля в Керчи поднялся было переполох, когда перед городом стала на якорь союзная эскадра. Однако эскадра эта вместе с воинскими транспортами была возвращена к Севастополю, и служилое сословие Керчи ликовало, применяя к союзным судам фразу гоголевского городничего о виденных им во сне крысах: «Пришли, понюхали и прочь пошли!»

Однако немного дней отпущено было керчанам для ликования. Как раз в ту ночь, когда шел упорный штыковой бой за обладание траншеей перед пятым и шестым бастионами, эскадра союзников в еще большем количестве боевых судов и транспортов появилась снова

перед Керчью.

Керчь — древнерусский город времен Мстислава Храброго{93} — Корчев, Черкио генуэзцев, Пантикапей древних греков, столица Боспорского царства, город, «где закололся Митридат»... Старинное прошлое Керчи ушло глубоко в землю и только угадывалось археологами, руководителями раскопок, по гробницам (из которых одна, например, была признана гораздо более великолепной, чем у кого-либо из римских императоров, но, к сожалению, была уже кем-то в старину ограблена начисто), по найденным в курганах драгоценным золотым украшениям: скипетрам, венцам, диадемам, щитам, по амфорам и другим сосудам, вазам с изображениями скифов, котлам из красной меди, медальонам, браслетам, зарукавьям, янтарным кольцам, статуэткам амуров и сатиров, монетам, плетеным корзинам, рыбацким сетям, счастливо не успевшим истлеть, по цементным ямам для засола рыбы, по давальням винограда, по акведукам, по фундаментам зданий, по замощенным булыжником площадям...

Когда в семидесятых годах восемнадцатого века Керчь, как часть Крыма, перешла во владенье России, это была деревня в пятьсот — шестьсот хижин, принадлежавших большей частью грекам-рыбакам. Хижины эти окружали старый замок, сооруженный еще генуэзцами, и древнюю, простоявшую уже тысячу с лишком лет греческую церковь, построенную на развалинах языческого храма Эскулапа{94} Пантикапейского.

Только за тридцать лет до Крымской войны решено было сделать из этой деревни город — морской порт для вывоза хлеба и других продуктов Приазовья.

И город возник на склонах довольно высокого холма, называемого Митридат-горою, на вершине которого был когда-то насыпан курган, покрытый огромнейшими камнями, какими-то обломками скал. Курган этот издавна именовался гробницей Митридата, почему и рыться в нем начали добросовестно.

Нашли множество костей, нашли много древних монет, наконец украсили вершину горы красивым зданием, фасадом своим похожим на афинский храм Тезея{95}, и отвели его под музей местных древностей.

От музея вниз щедро спустили широкую, из массивных гранитных плит, внушительного, почти циклопического вида лестницу, по обе стороны которой к пологим скатам горы очень живо прилепились двухэтажные каменные беленькие дома, крытые веселой матово-красной черепицей.

Так улица за улицей, вплоть до моря, вырос совсем европейского вида город, там, где еще так недавно торчали беспорядочно, врассыпную невзрачные жалкие хижинки.

Огромные магазины для ссыпки хлеба появились на берегу; кроме того, напуганный чумою Николай I приказал построить карантин, и это тоже огромное здание было построено верстах в четырех от Керчи, на мысе, где расположен был в древности греческий город Мармикион. Здесь на рейде и останавливались все иностранные корабли, приходившие за русским хлебом и другими товарами.

Городские ворота со стороны феодосийской дороги украсили бронзовыми грифонами{96} почтенной величины; чугунные узорчатые балюстрады расположили по соседству с грифонами; пожарную каланчу вонзили в небо; большому количеству чиновников и военных дали места в казенных учреждениях; и ко времени Крымской войны в городе насчитывалось уже свыше тринадцати тысяч жителей, но он собирался расти с быстротой, свойственной всем вообще морским коммерческим портам, привлекающим оборотистых людей разных наций блаженным ароматом скорой и верной наживы.

Больше всего все-таки жило здесь греков, оптовых и мелких торговцев, рыбаков, каменщиков, матросов; новой русской Керчи они достались как бы по наследству от древнего Пантикапея.

В городе было два базара — новый и старый, и если новый со своими каменными лавками, кофейнями и трактирами имел довольно культурный вид, то зато гораздо живописнее его был старый, куда съезжались татары из окрестных и отдаленных деревень, в своих круглых черных шапках, одинаковых для зимы и лета, часто окутанных пышными чалмами, и базар этот был в иные дни совершенно почти непроходимым от их мажар, запряженных то огромными рыжими двугорбыми верблюдами, то кроткими буйволами, то сухоногими поджарыми лошадьми.

Этот базар, кроме продаваемой на нем живности, кишел еще живностью соседних с ним обывателей: под ногами у людей, лошадей, волов и верблюдов деловито и неумолимо шныряли, отыскивая себе всякую поживу, поросята, цыплята, утята, чувствовавшие себя здесь, как в своих дворах.

Как и в глубокой древности, здесь, в проливе, во множестве ловили сельдей и другую рыбу; рыбу эту солили, коптили, вялили, и в иных кварталах Керчи даже и осенние ветры не в состоянии были сладить с тяжелым рыбным запахом, казалось пропитавшим тут и самую землю на несколько метров вглубь.

Тысячи бочонков с сельдями скоплялись на пристани Керчи и потом отправлялись на каботажных судах в Таганрог, Мариуполь, Одессу и другие порты Приазовья и Черноморья, а отсюда — в глубь России.

II

Стражем Азовского моря Керчь не была, хотя и стояла у пролива. Противника, способного добраться до этого глубоко внутреннего моря, не видели ни Александр I, при котором началось превращение деревни в коммерческий порт, ни Николай.

Только когда англо-французская эскадра вошла в Дарданеллы в начале Восточной войны, в Петербурге начали думать о возникающей опасности для Приазовья и принялись, впрочем, очень медленно спеша, вооружать не столько Керчь, сколько близкое к ней побережье пролива и делать попытки заградить самый пролив, чтобы в него не прорвались суда союзного флота.

Керченский пролив всего несколько километров шириною, но гораздо уже его фарватер, который проходит ближе к берегам Крыма, чем Кавказа. Чтобы держать под обстрелом именно этот фарватер, и устанавливались батареи на вдавшихся в пролив мысах.

Южнее Керчи установлена была батарея на Павловском мысе и другая — на мысе Ак-Бурун. Одну батарейку поставили в самой Керчи, а другую — у нового карантина для того, чтобы обстреливать неприятельские суда, в случае если они прорвутся все-таки на Керченский рейд... Наконец, в двенадцати верстах от Керчи, близ Еникале, в разных местах поставили еще три батареи. Самая сильная

из всех этих батарей — первая — должна была прежде других встретить вражеские суда: на Павловском мысе установили двадцать шесть орудий; в Керчи же было только четыре малокалиберных.

Разбросав вдоль берега всего около шестидесяти пушек, генерал Хомутов успокоился за участь города со стороны суши, но мысль превратить Азовское море в озеро, то есть закупорить фарватер пролива, осуществить оказалось куда труднее.

Фарватер этот, правда, был и не широк и не глубокий, но имел очень илистое дно и не только не был безопасен от штормов, но еще и вода в нем оказалась текучая.

Все способы заградить фарватер были пущены в дело, когда началась осада Севастополя. Прежде всего протянут был обыкновенный бон из цепей и бревен у самого входа в пролив со стороны Черного моря; однако осенние бури так изорвали его, что пришлось вытянуть остатки его на берег.

Тогда, по примеру Меншикова, Хомутов решил преградить фарватер судами. Больше пятидесяти таких, которые было не жаль топить, собрали для этой цели не только в Керчи и ее окрестностях, но и по всему побережью Азовского моря. Тут были и казенные, и частные, приобретенные у владельцев, и даже одно конфискованное английское.

Чтобы они тонули добросовестно и безотказно, а затонув, усидчиво сидели в иловатом дне пролива, их доверху нагружали камнем; если же они оказывались слишком низкобортны, им нашивали борта; вообще возни с ними было довольно много. Когда же вся эта операция была закончена, решено было не надеяться на это заграждение и минировать пролив.

Весною, месяца за два до прихода союзной эскадры, пролив и был минирован. Впереди линии заграждения в шахматном порядке было поставлено сорок мин. В глубоких местах мины ставились плавучие, в мелких — донные, которые должны были взрываться электрическим током.

Такие же точно минные заграждения установили и еще в двух местах пролива, севернее Керчи. Сделав же это, успокоились, так как сделали все, что можно было сделать при больших замыслах и малых

средствах.

В случае если бы все эти заграждения не помогли, заготовлены были и еще кое-какие способы защиты.

Со стороны Азовского моря — три небольших парохода, четыре транспорта и шесть казачьих баркасов; вся эта «эскадра» вооружена была несколькими десятками устарелых пушек, однако очень смутно представляли и экипаж ее и даже само высшее начальство, что именно могла она предпринять против первоклассного флота союзников; командовал ею контр-адмирал Вульф.

Наконец, на Арабатской стрелке — песчаной косе, примытой некогда морем к Керченскому полуострову, расположено было старое Арабатское укрепление, каменные стены которого давно развалились, а земляные валы обрушились. Эта крепостца особенно рекомендовалась Горчаковым генералу Врангелю, который был назначен вместо Хомутова охранять восточную часть Крыма; семнадцать стареньких орудий торчало на ее беззаботных, заросших травой валах, и целый батальон гарнизона можно бы было разместить в ней в случае крайней нужды.

У генерала Врангеля было кое-какое боевое прошлое: под его командой русские солдаты нанесли поражение туркам в Малой Азии и взяли у них крепость Баязет. Теперь перед ним была поставлена задача не пускать неприятеля в Азовское море и не пропускать его в глубь Крыма, если бы вздумал он высадиться в больших силах.

При этом не определено было точно, какие именно силы врага следует считать большими; силы же самого Врангеля если и достигали приблизительно десяти тысяч, то были очень распылены по побережью и состояли из пехоты, не способной к полевым действиям, из донских казаков и кавалерийских полков.

Однако Врангель, высокий благообразный старик, умеренной полноты и медленных движений, был вполне спокоен за внутреннюю часть Керченского полуострова по причине полного ее безводья, и если был чем озабочен, то только тем, чтобы в руки союзников не попали русские орудия, старательно понаставленные на Павловском мысе и в других местах.

Поэтому достаточные запасы пороха были заготовлены им на каждой

батареи для надобностей взрыва, и укреплений, и орудий. Что же касалось хлебных амбаров, принадлежавших казне, то их приказано было сжечь со всем хлебом, который в них находился; преимущественно это была пшеница, привезенная сюда для экспорта еще до начала войны.

III

Ясно представить заранее, как именно станут действовать интервенты на подступах к Керчи и далее, было, конечно, невозможно, а казаки, посланные Горчаковым предупредить Врангеля, что десантный отряд, «приблизительно в двадцать пять тысяч человек», отправлен, по всей вероятности, в Феодосию и Керчь, успели прискакать с этим известием тогда только, когда из утреннего тумана в море, перед прибрежным селением Камыш-Буруном, начали вырисовываться многочисленные остовы пароходов и огромных боевых кораблей. Тогда же прибыло донесение и от коменданта Феодосии, что большая эскадра прошла, не задерживаясь, мимо этого города на восток.

В Петербурге, в военном министерстве, царило прочное убеждение, что помешать десанту союзников, подкрепленному двумя-тремя десятками больших боевых судов, овладеть Керчью и Азовским морем вообще невозможно, поэтому незачем и затрачивать для защиты пролива большие средства.

Хозяйственный наказной атаман Хомутов скорбел об огромных запасах хлеба в портах Приазовья, особенно в Геническе, которые попадут, конечно, в руки интервентов, вместо того чтобы питать защитников Севастополя. «Даже и острый русский штык без сухарей окажется туп», — уныло писал он военному министру Долгорукову. Однако никаких мер ни к вывозу хлеба внутрь страны, ни к подлинной защите Керчи в Петербурге не принимали; между тем за входом в Азовское море союзники наблюдали зорко.

Даже сторожевой пароход бесшумно стоял здесь на якоре вне выстрелов с берегов, подобно «Мегере» перед Севастопольской бухтой, а канонерские лодки, подходя к самой линии затопленных судов, делали здесь промеры фарватера. Одна села было тут на мель, но когда ее вздумали обстрелять с Павловской батареи, оказалось, что

снаряды до нее не долетали, в то время как ядра из ее орудий даже перелетали через батарею; снялась она собственными средствами и ушла не спеша.

Конечно, и все несерьезные средства закупорки пролива и защиты берегов, так же как и расположение немногочисленных и слабых воинских частей, были хорошо известны и Броуну и д'Отмару, и место высадки десанта было выбрано заранее с тем расчетом, чтобы зайти в тыл наиболее сильной из батарей — Павловской — и овладеть ею, а потом тут же двинуть пехоту дальше по побережью пролива, к Еникале.

Флотилия, до семидесяти вымпелов числом, идущая медленно в тумане вдоль берега, представляла для наблюдавших ее с Тыклинского маяка и из деревни Камыш-Бурун зрелище величавое и жуткое: к мирной Керчи и в еще более мирные, тихие и мелкие воды Азовского моря шли явно огромные силы, задача которых была истреблять, разрушать, жечь и сопротивляться которым было невозможно.

Еще 23 апреля, когда к проливу у Керчи с этим же самым намерением подошла эскадра интервентов, сердца генералов — Хомутова в Тамани и барона Врангеля в Керчи — дрогнули от опасения запятнать свои беспорочные послужные списки на старости лет, перед выходом в отставку, с мундиром, пенсией и возможной арендой.

Тогда Хомутов, после отплытия эскадры, писал Врангелю:

«Нас ожидают большие события! Да благословит господь нас обоих! На одного из нас должен пасть удар, и если всемогущий поможет нам сохранить войска, то уже это будет большое счастье».

Но Хомутов не удовольствовался письмом. Он переправился из своей Тамани в Керчь, чтобы упросить Врангеля всемерно помочь ему, если высадка десанта произойдет сначала на кавказском берегу, охраняемом им, Хомутовым.

Сидя у Врангеля за вечерним чаем и теребя свои двухъярусные в соответствии со званием наказного атамана Донского казачьего войска почтенные усы, умоляюще говорил Хомутов:

— Помилуйте, Карл Карлович, посудите сами, ну что же я буду делать и в Тамани, и в Анапе, и в Новороссийске совсем в сущности без

войска? Ведь одного того, что я полный генерал и генерал-адъютант, недостаточно же для противодействия неприятелю: надобно войско дать! Я писал об этом неоднократно, но разве же там приняли во внимание? Нисколько! А ведь на кого же ляжет вся ответственность в случае чего, боже упаси? На меня, грешного, разумеется!

Лик у него был поневоле кроткий и под влиянием перенесенной тревоги бледный, дрябло-старчески-бледный; только одна большая бородавка под левым глазом бунтарски ярко горела.

— Поэтому-то я и обращаюсь к вам, — продолжал он, — любезнейший Карл Карлович, перекиньте мне заблаговременно хотя бы два батальона регулярной пехоты на мой берег, а?

И выцветающими уже серыми глазами он глядел на гораздо более молодого и чином, и званием, и летами охранителя крымского берега ожидающе просительно, с надеждой.

Благообразный Врангель смущенно поглаживал свою широкую лысину и отвечал:

— Они вернуться, глубокоуважаемый Михаил Григорьевич, они непременно возвратятся опять сюда, эти подлые англо-французы, если не завтра, то послезавтра... И мне так кажется, что непрерываемо это ясно, — сюда, ко мне они вернуться, а совсем не к вам пойдут, так что я-то и должен буду пасть под их ударом, вот кто именно, — я, а совсем не вы, Михаил Григорьевич!..

Врангель медленно, но тем не менее достаточно сокрушенно покачал головой, задумчиво глядя в одну точку на столе, где лежала простая серебряная ложечка и ничего больше, и закончил:

— Так что именно я нуждаюсь в вашей помощи, почтеннейший Михаил Григорьевич! До вас, может быть, тоже дойдет со временем неприятель, — я не спорю в этом, — но первый удар его должен буду вынести я! Два батальона регулярной пехоты, о-о, это было бы мне большое подспорье, большое подспорье!.. Если бы я мог получить от вас хотя бы и без артиллерии два батальона!.. По миновании же надобности в них я, разумеется, с самой искренней моей благодарностью переправил бы их обратно на ваш берег, добрейший Михаил Григорьевич!..

Хомутов изумленно развел руками, услышав такую странную просьбу:

у него было гораздо меньше войска, чем у Врангеля, и оно было еще менее боеспособно. Призвав на помощь все свое испытанное красноречие, пытался он убедить своего младшего товарища, что не крымскому, а кавказскому берегу угрожает первый удар союзников, но Врангель был слишком убежден в противном. Хомутову пришлось в конце концов отплыть обратно в свою Тамань, не добившись успеха, как и Врангелю не удалось выпросить у него ни одной роты. Каждый генерал остался при своих скромных силах перед большим испытанием, но в глубине души оба были недовольны друг другом.

И вот теперь, когда союзная армада остановилась, не пойдя дальше на восток, против Камыш-Буруна и начала выстраиваться в три линии, выставив в первую легкие пароходы, тут же открывшие обстрел города у Врангеля как единственное утешение, весьма, впрочем, сомнительное, появилось сознание своей правоты, которую должен был признать, наконец, за ним и этот долгоусый Хомутов, если только сейчас он сидит в своей Тамани.

Пушечные выстрелы в море во время тумана бывают особенно раскатисты. Кавказский берег слышал их на далеком расстоянии от Камыш-Буруна, имения помещицы Олив, где готовились высадить десант интервенты.

Место высадки десанта заранее угадывалось Врангелем потому, что в первое свое появление эскадра союзников остановилась перед Камыш-Буруном, а перерыв ее действий на две-три недели не мог ничего изменить. Да и на взгляд самого Врангеля это было наиболее удобное место для переброски на берег больших масс пехоты, чтобы действовать против Керчи и Еникале.

Невдалеке от Камыш-Буруна, в ложине, был собран в ночь на 12/24 мая небольшой отряд, около тысячи восьмисот человек при четырех полевых орудиях под командой полковника Карташевского. Это были основные силы Керченского полуострова. Оказать сопротивление десанту интервентов они не могли, конечно, — они могли только наблюдать за тем, что он предпримет. На обстрел берега с судов Карташевский не ответил ни одним выстрелом.

Контр-адмирал Вульф приказал пароходам своей керченской эскадры развести пары, чтобы быть в состоянии «нанести неприятелю

наибольший вред»; в случае же если не удастся это, — спасти экипажи судов, а суда взорвать. Врангель спешил стянуть какие-нибудь части на подмогу к небольшому отряду, стоявшему у Феодосии, так как опасался, чтобы и здесь интервенты не высадили десант, достаточный для захода ему в тыл: захватить узенький, всего в шестнадцать верст в ширину, перешеек, запереть ему выход в середину Крыма, заставить его сдаться со всеми немногочисленными войсками, бывшими в его распоряжении, — этой мысли достаточно было, чтобы сделать из медлительного, спокойного на вид генерала беспорядочно заметавшегося торопыгу.

Во втором часу дня 12 мая Карташевский послал в Керчь Врангелю донесение, что высадка десанта началась: море покрылось огромным количеством шлюпок с солдатами. Но донесение это еще только принимал Врангель, когда раздались резкие, гулкие орудийные залпы со стороны старого карантинного острова: это канонерские лодки, подойдя сюда и заметив русский отряд в ложбине за Камыш-Буруном, вздумали его обстрелять, хотя расстояние до него и превышало дальность полевой артиллерии.

Карташевский приказал отряду сниматься и отступать по феодосийской дороге, тем более что высадка десанта шла быстро и уже большие колонны противника выстраивались на берегу, между деревней и мысом.

Высадку начали французы. Их синие мундиры и красные штаны ярко запестрели на высоте около селения.

Туман отполз далеко в море, плотный и белый, и на его фоне очень четко рисовались мачты и паруса больших кораблей, стоявших в третьей линии; а спереди от пароходов и транспортов к берегу и обратно, вспенивая тихое море веслами, во множестве сновали шлюпки.

Левее французов начали выстраиваться красномундирные английские полки, а еще левее их турки, очень заметные издали по своим малиновым фескам с широкими синими кистями.

IV

Что в пятнадцати верстах высаживается десант союзников, стало тут

же известно всем в этой чистенькой, опрятной, зажиточной Керчи, где так много было греков и армян, экспортеров русской пшеницы, в уютных домах которых почти накануне еще сквозь открытые окна то бурно и радостно, то меланхолично звучали рояли и часто устраивались в неприкрыто практических целях вечера с танцами, где черноокие юные южанки очаровывали классической эллинской красотой русских чиновников и военных, детей угрюмого севера.

И вот всей этой спокойной, налаженной, несложной, правда, но вполне самоудовлетворенной жизни мгновенно настал конец, как только греки и армяне услышали, что, кроме французов и англичан, высадилось на берег множество турок.

Французы и англичане, хотя тоже чрезвычайно скверно, но все-таки совсем не то, что турки: в представлении греков и армян два понятия «турки» и «поголовная резня» сливались в одно. Поэтому все, на чем можно было спешно выбраться из Керчи, бралось с боя: татарские мажары, запряженные верблюдами, перегружались до отказа женщинами и детьми; на дроги с ленивыми буйволами, не надеясь на их прыть, клали горами необходимейшие вещи, больше мягкую рухлядь, а сами шли около, стараясь в одно и то же время и уйти как можно дальше от обреченного города, который некому было защищать, и не потерять из вида подвод со своим последним добром. Скрип от немазанных колес татарских мажар был оглушительен, раздирал душу. Немногочисленные керченские извозчики, тоже татары, пользуясь таким неслыханным случаем, как нашествие неприятеля, брали по сто рублей серебром за то только, чтобы вывезти из города в степь, в хвост отступающих войск. Дамы и девицы из зажиточных семейств, выскочившие на улицу, как во время пожара, в одних только платьях и в легких белых туфлях с высокими каблуками, совсем не приспособленных для дальних путешествий, шли толпами, часто оглядываясь назад и все ускоряя шаг. Они даже не плакали при этом, — некогда было плакать, — они цепенели от ужаса, представляя, что их догоняют турки, и шли, разбивая до крови ноги.

Почти все население Керчи бежало в течение нескольких часов: из

тринадцати тысяч осталось не более двух; в числе их такие, которые не решились бросить своих тяжело больных или весьма престарелых домашних, или просто никак не успели собраться, или, наконец, ничего не могли потерять, считая, что жизнь — копейка, судьба — индейка, но немало надеялись приобрести в брошенных богатых домах.

В простой почтовой телеге, которая, громыхая, прыгала по булыжной мостовой, мчался на Павловскую батарею Врангель, чтобы успеть лично передать приказ немедленно заклепать все орудия, снаряды к ним выбросить в море, лафеты изрубить и сжечь, пороховые погреба взорвать...

Это было в три часа дня. Перед этим он отдал приказ по флоту, чтобы тот бросил керченский рейд и уходил в море, а по гарнизону Керчи, в котором числилось около трехсот человек, — приказ поджечь все казенные хлебные магазины и склады и после того отступить в самом спешном порядке по той же феодосийской дороге, по которой отступал отряд Карташевского.

Пароходы, грузившие перед тем кипы перевязанных бечевками, насквозь пропыленных казенных архивов и всякого делопроизводства вслед за погруженными уже казенными суммами, бросили это, исполняя новый приказ, но уйти в Азовское море, чтобы добраться до Геническа, Бердянска или Таганрога, всем не удалось.

Пароход с громким именем «Могучий» по причине неисправностей в машине даже и уйти никуда не мог и с утра уже был предназначен к сожжению. Команда с него почти вся была свезена на другой пароход, «Бердянск», нужно было только зажечь его, но ни капитан «Могучего» лейтенант Кушакевич, ни кто другой из нескольких человек его подчиненных, оставшихся с этой целью, не решались уничтожить судно, к которому привыкли, как к живому существу.

Подобный же инвалид, пароход «Донец», уже горел ярко; на берегу пылали казенные хлебные магазины; вся остальная керченская флотилия уже снялась с якоря и продвигалась к северу, а с юга подходили уже, ничуть не задержанные ни минами, из которых ни одна не взорвалась, ни затопленными судами, которые глубоко ушли в ил, легкие пароходы интервентов.

— Зажигай, ребята! — браво скомандовал матросам Кушакевич, когда пароходы эти начали уже входить на рейд.

Для того чтобы «Могучий» вспыхнул в свое время, как свеча, по его палубе и были разбросаны сальные свечи, сало и масло, какие нашлись в кубрике, и где только можно было, щедро разлили смолу. Оставалось зажечь пучок сосновой лучины и разбросать ее здесь и там, а самим уйти по сходням на пристань.

Но матросы, угрюмо переглядываясь друг с другом, заняли места у заряженных и наведенных как раз туда, куда надо, — на пароходы интервентов, — орудий левого борта; они ждали совсем не этой команды, а другой.

— Зажигай! — повторил громче и требовательней лейтенант.

На это один из матросов отозвался сурово и совсем непочтительно:

— Хочешь руку на судно наложить, сам и наложи, а мы не станем!

Лейтенант бросился сам в кубрик, там зажег лучину: помогать ему уничтожить «Могучего» спустились другой лейтенант, Ушаков, и прапорщик Иванов, но подожженный ими пароход горел медленно, а неприятельские пароходы подходили ближе и в большом числе — не менее двух десятков...

В скрыт-камере оставалось еще несколько бочонков пороха, которые не были выброшены заранее в море. Их вздумал взорвать Кушакевич, чтобы ускорить гибель судна. Они взорвались, но преждевременно, — люди не успели еще оставить парохода. Два кочегара, лейтенант Ушаков и прапорщик Иванов были убиты на месте взрывом, а самого Кушакевича перебросило с правого борта на левый и завалило обломками. Матросы, не желавшие исполнять его приказа, могли бы, конечно, бросить его и уйти с тонущего и горящего судна, пока было не поздно, однако они, с опасностью для своей жизни, высвободили его из-под обломков и, убедившись, что остальные мертвы, понесли своего командира с переломленными ногами и обожженным лицом в керченский городской госпиталь.

Там с часу на час ожидали вторжения в город неприятельских колонн, двигавшихся уже от Камыш-Буруна, рассыпав впереди себя густую цепь стрелков. Всё и вся стремительно уходило из города, но госпиталь был брошен на милость интервентов.

Пароход «Бердянск» ушел незадолго до того, как загорелся «Могучий». Два неприятельских парохода пустились за ним в погоню. Видя, что ему не уйти от них, «Бердянск» круто повернул к берегу, сел на мель около нового карантин, и команда едва успела сойти с него на берег и зажечь судно.

Контр-адмирал Вульф уходил на всех парах, спасая остатки своей флотилии. Транспорты были уже им затоплены, у него оставалось только три парохода и паровая шхуна «Аргонавт». Шхуна отставала от пароходов, и первый же неприятельский пароход, вышедший на керченский рейд, бросился за ней в погоню, открыв стрельбу. Преследование продолжалось, пока еникальские батареи не вступили в перестрелку с пароходом, союзников.

Под прикрытием их огня Вульф выбрался в Азовское море, направившись к Бердянску. Уничтожив большую часть керченской эскадры, он спас таким образом четыре судна. Увы, ненадолго!.. На другой день он подошел к Бердянску, а на третий к тому же Бердянску подходила союзная флотилия, вступить в бой с которой значило бы погубить напрасно команды судов. Ввести пароходы в устье Дона было невозможно, и Вульф вынужден был остаться адмиралом без эскадры: все три парохода — «Колхида», «Молодец» и «Боец», — как и шхуна «Аргонавт», были сожжены, машины их взорваны, орудия сброшены в море...

V

Как ни быстро шла высадка десанта, но, начавшись в половине второго, она закончилась только часам к пяти.

Павловская батарея была взорвана по приказу Врангеля в четвертом часу. На далекое расстояние дрогнула земля от мощного взрыва, и, услышав его от Камыш-Буруна, генералы Броун и д'Отмар поняли, что сопротивления им при занятии Керчи оказано не будет.

Все-таки, предоставив первые действия своему флоту, интервенты постарались выполнить намеченный заранее план движения пехотных частей, и д'Отмар с одной бригадой своей дивизии уже при заходе солнца, в седьмом часу, направился к тому месту, где была Павловская батарея, как бы затем, чтобы убедиться, начисто ли все

там уничтожено русскими: он знал, что эта батарея была единственным оплотом Керчи, а дальше вдоль берега наибольшее число орудий сосредоточено было только в Еникале, куда он и двинул бригаду, идя через Керчь отнюдь не в темноте.

Напротив, в Керчи ярко пылали провиантские магазины, запасы сена, хлебные склады частных лиц, а на рейде не успели еще сгореть пароходы «Донец» и «Могучий»; дальше, близ нового карантин, высокий и колеблющийся столб красного пламени показал место, где горит «Бердянск»...

В других местах побережья тоже что-то пылало, и вообще, хотя и спускалась уже ночь на пролив и полуостров, это была отнюдь не мрачная ночь: горело то, что не могли, правда, защитить по недостатку сил, но не хотели и отдать в руки врагу, чтобы его усилить. Это были жертвенные костры, которым со времени пожара Москвы в двенадцатом году не должны были удивляться французы.

Д'Отмар со своей бригадой только еще подходил к Керчи, направляясь берегом в Еникале, как и со стороны Еникале раздались один за другим три сильнейших взрыва: подполковник Белизо, комендант, приказал взорвать пороховые погреба на батареях, заклепав предварительно все орудия, собрал весь свой гарнизон и отступил с ним в глубь полуострова. Провиантские склады, подоженные по его приказу, долго потом освещали, как огромные факелы, дорогу его отряду.

Эти взрывы и пожары показали д'Отмару, что Еникале так же не будут защищать русские войска, как и Керчь, поэтому дальнейшее движение бригады было приостановлено; она расположилась на ночевку в поле: д'Отмар считал это гораздо более безопасным, чем входить ночью в город, в котором, быть может, на всех улицах заложены фугасы.

Таким образом в эту ночь, с 12/24 на 13/25 мая, Керчь еще не была занята регулярными войсками интервентов и из нее уходили еще небольшими партиями те, которые пугались турецких зверств. Но они забывали о татарах степных аулов.

Чуть только весть о высадке десанта, в котором были и турки, залетела в степь, много татар восстало против русской власти, как это случилось и около Евпатории восемь месяцев назад. Но слишком

плохо вооруженные для того, чтобы нападать как партизаны на отступающие даже и мелкими командами русские войска, они нападали на беженцев...

Десятитысячный табор беженцев, ушедших из Керчи еще засветло, двигался плотной и гораздо менее удобной для нападения толпой; однако хотя здесь и многие ехали на экипажах разного рода от фаэтона до мажары, но несравненно больше было идущих пешком, и беда была тем из них, которые уставали до полного изнеможения и садились или ложились на землю отдыхать: эти потом уже не вставали.

Утром же беженцы завопили: «Воды! Воды!» — но воды нигде не было: степь Керченского полуострова безводна в гораздо большей степени, чем степь остального Крыма. Бедные водою колодцы по встречавшимся аулам брались с бою, и через несколько минут оставалась в них только грязь... Среди беженцев было много семейных, обремененных детьми, и страдания детей от жажды нестерпимо увеличивали страдания их матерей и отцов.

Однако не в лучшем положении были и воинские команды, в хвосте которых двигались беженцы. Команды эти были сборные: тут оказались и матросы с потопленных транспортов и пароходов, и артиллерийская прислуга, освободившаяся от своих батарей, и гарнизонная стража, и писаря, и музыканты, и, наконец, карантинный полубатальон, целиком состоящий из инвалидов, страдающих кашлем, одышкой, ревматизмом и прочими цепкими недугами... Этих последних, которые и шли-то с большим трудом, безводье совершенно выбивало из сил. В то же время начальству всех этих команд надо было заботиться и о том, чтобы чем-то и как-то накормить их в пути.

У большого селения Аргин, ближе к перешейку, и воинские команды и беженцы сделали 13 мая дневку, чтобы отдохнуть, осмотреться, подтянуть отсталых и нетатарское население деревень, спасавшееся от резни.

Врангель был одержим навязчивой мыслью, что союзники непременно сделают высадку крупных отрядов в Феодосии и потом стремительным маршем займут перешеек, чтобы отрезать ему отступление, окружить, заставить сдаться. Поэтому он не только стягивал все свои силы на

перепутье от Феодосии к перешейку, но и настойчиво просил помощи у генерала Реада, в ведении которого был общекрымский резерв, и в Симферополь к нему мчались от Врангеля один за другим ординарцы. Реаду пришлось послать драгунский полк из Карасу-базара и несколько легких орудий, но Броун и д'Отмар оставили Феодосию в покое, так как завоевывать Керченский полуостров не входило в их задачи. Они сами опасались ожесточенного, как в Севастополе, сопротивления русских, особенно же коварного ночного флангового удара слева, поэтому движение через Керчь в Еникале было начато ими только утром.

С возможной торжественностью — с музыкой и громким барабанным боем — вошел соединенный отряд интервентов в Керчь, но прошел ее гимнастическим шагом, а дойдя до нового карантина, остановился и немедленно же начал приспособлять его здания к обороне от внезапного нападения русских: союзные стратеги не хотели даже и верить тому, что совсем не Врангель с его отрядом должен был прикрывать Керчь и Еникале, а, совершенно напротив, Керчь и Еникале, брошенные, как кости преследующим собакам, должны были прикрывать отступление Врангеля и его отряда.

От нового карантина отряд д'Отмара, к которому теперь, кроме англичан, присоединились и турки, двигался вдоль берега так осторожно и медленно, что только к ночи дошел до Еникале, но не решился входить в него, хотя и этот городок, со старинной турецкой крепостью в нем и зубчатыми стенами тоже древней кладки, был уже почти пуст.

В него вошли только утром и тоже с музыкой и барабанным боем.

VI

А во время этого движения союзного отряда в Еникале начались в Керчи грабежи брошенных жителями домов.

Если каждая война, кроме освободительной, — только грабеж, организованный в огромных масштабах, то каждый грабеж — подобная же война в миниатюре. Мародеры-турки из союзного отряда рассыпались для грабежей по закоулкам, но, так сказать, вполне узаконены были эти грабежи матросами экипажей, высаженных с

военных судов на берег в Керчи.

Матросы, попавши на берег, тут же направились на поиски винных подвалов, и так как подвалы эти были заперты, стали выламывать в них двери, и стоило только им напиться, чтоб начать совершенно открыто, среди бела дня то, что мародеры-турки осмеливались делать только ночью, — взламывать двери во всех подряд запертых домах.

С английскими матросами ходили на грабежи также и офицеры. Они делали это, нагруженные разными воровскими инструментами: отмычками, отвертками, стамесками, долотами, молотками... Все это хранилось у них в холщовых сумках, перекинутых через плечи. И если грабеж матросов был груб по приемам и весьма мало осмыслен, то грабеж их офицеров был обдуманном очень глубоко и тщательно.

Нехитрая, конечно, вещь ворваться в церковь, сорвать там серебряные ризы с икон, унести оттуда всякие дискосы и потиры, серебряные кадила и подсвечники, а также, между прочим, и расшитое золотом и серебром новенькое облачение священников. Гораздо глубже мысль, не спрятаны ли в роялях, в этих таинственных лабиринтах перекрещивающихся внутри струн, свертки с золотом или разные мелкие драгоценные вещи.

Так начали на куски разбираться или даже просто нетерпеливо разбиваться дорогие заграничные рояли, и обломки их, выброшенные из окон на улицы, как и обломки разбитых комодов и шкафов и вспоротых диванов и кресел, скоро завалили улицы. Впрочем, наиболее ценную мебель, а также статуэтки, находимые во взломанных домах, английские офицеры собственноручно тащили к себе в каюты, как законную военную добычу.

Окрестные татары тоже сходились толпами на грабежи, но эти, не знавшие цены мебели и роялям, статуэткам и поповским ризам, хорошо зато знали цену дойным коровам и козам, брошенным без призора бежавшими хозяевами, тем более что греки держали только многомолочный скот.

И вот, пользуясь вечерней темнотою, гнали татары к себе в деревни целые стада скота. Вслед за беспризорными коровами туда же попали и коровы оставшихся в Керчи жителей, которые вынуждены были жертвовать ими, чтобы не проститься с жизнью. И только особенно

хитрые и скотололюбивые из них сумели припрятать с десятков коровенок в пещерах, замаскированных камнями, в погребках, входы в которые заваливались всякой рухлядью, способной не внушать подозрений даже и зорким глазам грабителей.

Только через несколько дней, когда Броуну вздумалось установить в Керчи кое-какой порядок, а для отряда потребовалось мясо, вспомнили о коровах и начали искать их в окрестных деревнях. Не забывая о мясных порциях для солдат экспедиционного корпуса, несколько сот коров отправили с этой же целью в лагерь под Севастополем.

Не только совершенно безнаказанные, но как будто даже разрешенные свыше, грабежи сделали неузнаваемым так еще недавно чистенький, беленький, веселый, зажиточный портовый город. Однако и среди грабителей из-за дележа награбленного начались ссоры, особенно частые в винных подвалах, где иные любители спиртного до смерти опивались вином.

Ссоры эти сплошь и рядом оканчивались убийствами, так что союзные генералы решили из керченского адмиралтейства сделать гауптвахту для буянов, а винные бочки в подвалах разбить и вино выпустить. Но зато, чуть только прекратились благодаря расставленной всюду полиции грабежи матросов, солдат и офицеров, начался разгром Керчи, устроенный самим генералом Броуном в интересах доброй старой Англии.

Здесь была литейная для нужд судов, заходивших в порт чиниться после перенесенного в море шторма; литейная была снабжена необходимыми машинами, мимо которых равнодушно прошли грабители первых дней. Теперь эти машины были вытащены и погружены на судно, а самое здание литейной взорвано. Музей на горе Митридат был уже разграблен офицерами английского флота, но оставались полы в нем из белого мрамора. Теперь мраморные плиты были выломаны и отправлены на суда.

Потом приказано было выламывать и деревянные полы во всех брошенных домах, так как доски нужны были в лагерь под Севастополем, а вместе с полами выламывали также и двери, оконные рамы и стропила крыш на топливо при варке пищи солдатам. Так что

очень скоро Керчь приобрела такой вид, точно ее разрушил ураган небывалой силы.

Однако же мало одних только дров, чтобы приготовить пищу на целый экспедиционный корпус, — нужны еще и съестные припасы в огромном количестве, поэтому все, что еще не было ограблено в Керчи в этом смысле, грабилось теперь. В городском госпитале, где брошены были Врангелем на милость интервентов раненые севастопольцы и местные больные, при которых самоотверженно остались врачи, запасено было провианта на два месяца; этот провиант был забран, для нужд солдат союзных отрядов.

Между тем Врангель, оставляя Керчь, оставил и письмо на имя Броуна, начальника корпуса союзников:

«Генерал! Прежде чем оставить Керчь, я считаю необходимым исполнить долг, которого требует человечество и который возлагается на меня как моим положением, так и живым участием, питаемым мною к тяжело больным храбрым солдатам. Лишенные возможности по своей слабости отступить с отрядом, эти солдаты оставлены в военном городском госпитале на попечении доктора Марценовского (отличного во всех отношениях), которому приданы в помощь аптекарь, комиссар и сорок служителей.

Генерал! Прошу вас принять под свое покровительство наших больных, равно как и лиц, попечению которых они вверены, и оказать им свое внимание. Больные обеспечены с избытком на несколько недель припасами и всем необходимым для облегчения их тяжкого положения.

В уверенности, что мое ходатайство о страждущих и слабых воинах будет принято вашим превосходительством как долг перед человечеством, прошу вас принять уверения в моих лучших чувствах к вам».

Увы, на это письмо Броун не ответил. Когда же до Врангеля дошли слухи, что госпиталь ограблен и раненые севастопольцы предоставлены злой судьбе, он послал в Керчь в качестве парламентаря одного лейтенанта флота, хорошо говорившего по-английски, как и по-французски, с просьбой передать ему всех, не умерших еще от голода больных вместе с обслуживающим их

персоналом госпиталя. Лейтенанта этого сопровождал целый обоз пустых подвод.

Помня, как после боя на Алме Раглан отправил несколько сот раненых русских солдат в Одессу, генерал Броун распорядился, чтобы больные, врачи и служители госпиталя были выданы лейтенанту по списку; писать же лично что-нибудь Врангелю счел ниже своего достоинства.

И вот по безводной степи потянулся от Керчи обоз, к которому пристало много керчан, опоздавших выбраться из обреченного города вместе со всеми. Если тогда они могли бы взять с собою столько, сколько в силах были нести, то теперь они шли совсем налегке, ограбленные до нитки.

Освободив госпиталь от русских раненых, Броун приказал приспособить его для нужд керченского гарнизона, так как имелось в виду со временем оставить здесь целиком весь турецкий отряд в шесть тысяч человек и по одному полку французов и англичан.

Полагая, что русские археологи слишком невежественны для того, чтобы отыскать на Митридат-горе гробницу Митридата, полную неоценимых сокровищ, интервенты начали усердно рыться в этой горе. Заодно рылись и на городском кладбище в надежде добыть золотые вещи из могил не столь древних и не столь знаменитых покойников.

А в ограждение от ожидаемого все-таки наступления русских войск усердно строили укрепления. Но сколько ни обращался Врангель к Горчакову, чтобы тот подкрепил его не то чтобы для нападения на Керчь, а всего только для защиты от неприятельских отрядов, ожидавшихся в свою очередь им со стороны Феодосии или Арабата, Горчаков оставался непреклонен: ни на один батальон он не хотел ослаблять себя в Севастополе.

VII

Когда один молодой интеллигентный пленный англичанин, раненный во время мартовской вылазки под руководством Бирюлева, взятый в плен, помещенный в госпиталь на Северной и там поправившийся, услышал, что сделал его генерал Броун, при ревностной помощи

английских офицеров, матросов и солдат, с мирным незащищавшимся городом Керчью, он был чрезвычайно поражен этим. Он явился на квартиру к старшему врачу госпиталя, чтобы высказать ему то, что считал неудобным сказать в общей палате. Он сказал, волнуясь:

— Вы лечили меня и вылечили... За мною был самый внимательный уход, какого только можно было ожидать в обстановке войны, в обстановке осады Севастополя, и я вам бесконечно признателен за это. Но все-таки я прошу вас, я умоляю вас — отравите меня каким-нибудь быстро действующим ядом, чтобы не испытывать мне перед смертью совершенно излишних мучений... Вас удивляет моя просьба, но я не хочу жить после того, как услышал, что сделали англичане в Керчи. Это покрыло всю Англию в моих глазах несмываемым позором, и мне стыдно за то, что я англичанин! Гораздо легче для меня было бы умереть, чем считаться англичанином! Очень прошу вас, отравите меня!

И русскому врачу пришлось успокаивать пленного англичанина тем, что, может быть, дескать, и даже скорее всего, дошедшие до него сведения о положении в Керчи только злостные слухи, что представители культурной нации, Броун и другие англичане из экспедиционного корпуса, не могли себя вести там, как самые отъявленные вандалы.

Между тем защищаемый им генерал Броун, не преследуя слишком отдаленных целей, вроде окружения слабых сил Врангеля или оккупации всего Керченского полуострова, и заняв пехоту своего корпуса устройством укреплений около Керчи, послал легкие мелкосидящие суда с немногочисленным десантным отрядом в Азовское море громить прибрежные города и истреблять каботажный флот.

Первый город, подвергшийся нападению эскадры интервентов, был Бердянск. Однако сожжение Вульфом как раз перед приходом союзного флота трех русских пароходов и шхуны уже произвело достаточно сильное впечатление на бердянцев, и они единодушно бросили свой город и ушли, как сделали незадолго перед тем керчане. У частных экспортеров скопилось тут около трехсот тысяч пудов пшеницы; эти запасы были сожжены интервентами, и все лодки,

большие и малые, не исключая и рыбацких, уничтожены.

Но гораздо более важным для снабжения Севастополя хлебом был Геническ, расположенный у входа в Сиваш. Здесь и запасы хлеба и фуража были значительней, здесь же через совершенно незащищенный пролив мелкие суда союзников могли пройти в Сиваш и так или иначе повредить сообщениям Крыма с севером. Поэтому Горчаков послал сюда полковника князя Лобанова-Ростовского наладить хоть как-нибудь защиту и Сиваша и Геническа.

Лобанов все суда, какие можно было ввести в Сиваш, направил туда, а пролив забаррикадировал четырьмя старыми шхунами, нагрузив на каждую по тысяче пудов каменного угля; затонув, шхуны эти создали надежное заграждение. На рейде у Геническа остались одиннадцать пароходов, частью греческих, частью финляндских; владельцы не захотели их уничтожить, в Сиваш же они не могли пройти. Капитаны этих пароходов были убеждены даже в том, что их не должны тронуть союзники.

Однако, едва только появились 16 мая в виду Геническа союзные суда, первые выстрелы с них были направлены на эти греческие и финляндские пароходы, которые и запылали вскоре.

Всего шестнадцать винтовых фрегатов и пароходов интервентов были сосредоточены перед небольшим городком, в котором всей артиллерии было только два орудия легкой батареи. Однако, когда от союзников прибыл парламентар с требованием выдать немедленно все суда, спрятанные в Сиваше, и все запасы провианта, Лобанов ответил отказом.

Тогда началась бомбардировка. Геническ от населения был уже очищен заранее, небольшие воинские команды, бывшие в распоряжении Лобанова, были им тоже отведены верст за пять во избежание напрасных жертв; но когда от неприятельских выстрелов стали гореть огромные, стоявшие возле берега провиантские склады, а несколько шлюпок, снабженных фальконетами, пробравшись, несмотря на заграждение, через пролив, принялись все-таки жечь суда, Лобанов решил пустить в дело две свои пушки, и мера эта оказалась чудесной: не только шлюпки были выбиты ими из пролива, но даже и вся эскадра отошла подальше от берега, а скоро и совсем

ушла в море.

Сожжено было из запасов пшеницы и овса до восьмисот тысяч пудов, а шлюпки истребили несколько десятков лодок.

От Геническа эскадра пошла к Таганрогу. Если в Геничеськ были присланы Горчаковым два малокалиберных орудия, то в Таганроге не оказалось и этого. Гарнизонный полубатальон представлял всю его защиту. Начальство города думало, что к чему же англо-французы ни с того ни с сего станут бомбардировать Таганрог, в котором, между прочим, было много домов, принадлежащих иностранцам.

И вдруг парламентар объявил волю начальника эскадры: город должен быть сдан, а воинская часть, какая в нем имеется, выведена, иначе город будет взят десантом. Сдаться Таганрог не захотел, и казаки вместе с двумя ротами стрелков приготовились встретить десант залпами и штыками.

Однако, прежде чем высадить десант, эскадра открыла канонаду и полчаса громила город. Потом от судов отошли шлюпки с небольшим десантным отрядом, человек в триста. Отряд этот высадился было на берег, но чуть только прекратился огонь из судовых орудий, как на десант посыпались пули русских стрелков, штыки же закончили дело и заставили высадившихся бежать обратно к своим шлюпкам.

С полчаса постреляла еще эскадра, чтобы прикрыть отступление десанта, а потом ушла к Мариуполю, а храбрые таганрожцы стали подсчитывать свои потери. Из войск и мирных жителей оказалось убитых только двенадцать человек и несколько десятков ранено; сгорело и было разрушено бомбардировкой около ста домов.

Мариупольцы, по примеру таганрожцев, тоже отвергли требование безусловной сдачи города и решили защищаться ружьями донских казаков от эскадры в шестнадцать вымпелов.

Как только после бомбардировки города несколько баркасов отделилось от судов и пошло к устью лимана реки Кальмиус, чтобы истребить спрятанные в этом восьмиверстном лимане суда, казаки открыли пальбу, которая совершенно не понравилась интервентам. Повернули назад не только эти передовые баркасы, но и пять других, шедших им на помощь. Эскадра, как и под Таганрогом, постреляв не

особенно, впрочем, рьяно еще около часу, снялась и ушла, чтобы через день напасть на маленький городишко Ейск на кавказском берегу Азовского моря.

Тут и из ружей стрелять было некому, не было никакого гарнизона; городишко же был весь деревянный: только загорись от выстрела в одном конце, сгорел бы, конечно, дотла; между тем провиантский склад там был совсем небольшой, и жители решили лучше уплатить казне за сожженные несколько тысяч пудов зерна, чем самим записаться в погорельцы.

Так и сделали: провиант был ими сожжен на глазах парламентаря от союзников. Эскадра торжественно удалилась.

Это был последний ее подвиг в Приазовье.

Когда же эскадра пошла к берегам Кавказа, то генерал Хомутов счел за лучшее последовать примеру Врангеля: он бросил и Анапу и Новороссийск.

Совсем маленькая крепостенка Арабат, из семнадцати пушек которой могли стрелять в сторону моря только пять, три часа отбивалась от эскадры союзников и сумела нанести ей настолько чувствительный урон, что та ушла, не осмелившись даже отправлять к берегу десантный отряд против нескольких сот человек, засевших за старыми, почти стертymi и временем и этой бомбардировкой валами.

Анапа же имела четырехтысячный гарнизон, сильные верки, достаточное число орудий и снарядов. Но слишком велики были глаза у страха, обуявшего старого генерал-адъютанта Хомутова. Ему, как и Врангелю, все мерещилось, что интервенты высадят сильный десант на кавказском побережье с таким расчетом, чтобы обойти Анапу и отрезать ему путь отступления в глубь Черноморья. И если Врангель, в смысле обхода своих сил, очень опасливо поглядывал на Феодосию, то и Хомутов нашел у себя на побережье подобный же по опасности пункт — Темрюк. Этот Темрюк притянул к себе все его помыслы, и, наконец, не в силах будучи бороться с охватившей его боязнью быть обойденным и отрезанным, Хомутов написал военному министру:

«По особому промыслу пал на меня жребий приступить к великой решимости упразднить крепость без высочайшего разрешения. Боюсь царского гнева, достойно, быть может, мною заслуженного: гнев сей

падет тяжким камнем на остатки моей жизни... Один бог свидетель тому, что я перечувствовал и перенес в эти тяжкие минуты! Торжество неприятеля больно русскому сердцу, но еще прискорбнее было бы видеть несколько тысяч жертв, могущих погибнуть без всякой государству пользы, тогда как принятою мною мерой и они будут спасены и обезопасена целая страна — Черномория».

Написав это, он приказал привести в полную негодность все орудия, взорвать укрепления и сжечь все, что не было уничтожено взрывами: Анапа, за взятие которой у турок в 1791 году генерал Гудович получил Георгия второй степени, а за вторичное взятие у тех же турок в 1828 году князь Меншиков — Георгия третьей степени и чин вице-адмирала, перестала существовать как крепость. Но под ее защитой широко раскинулись были казачьи станицы: Витязева, Николаевская, Александровская, Благовещенская... Хомутов сжег и их, чтобы оставить неприятелю место пусто. Ни укреплений, ни селений не осталось на берегу; войска тоже были уведены. Союзникам предоставлено было удовольствие гулять по развалинам и пепелищам; в Константинополе это вызвало празднество, горцы ликовали... так же как и публицисты западных газет.

Однако все эти празднества и ликования были совершенно напрасны: не только в сторону Черноморья, даже и в глубь Крыма со стороны Керчи или Арабата не могло быть направлено интервентами острие войны: Севастополь приковал к себе все их силы, и в июне возвратилась туда большая часть и десантного корпуса и эскадры.

Глава пятая. Витя и Варя

I

Город, в котором родился и провел свои детские годы, — это совсем особенный город для каждого. С ним связаны не впечатления — нет, откровения; не радости просто — восторги; не огорчения — трагедии, не подъем минутных настроений — полет в неслыханно-чудесное, в безбрежное, в невыразимое словами счастье...

Он прирастает к сердцу весь целиком, и величайшая работа

проделывается потом жизнью, чтобы с болью отрывать его по кусочкам и замещать другими городами, где бывший ребенок, став уже взрослым, учится, трудится, любит и с каждым новым днем все больше и лучше узнает, как мала земля.

И все-таки не в состоянии даже и вся жизнь совершенно оторвать от сердца родной город и заместить его другим. Вдруг возьмет и прихлынет он и засверкает так, что хоть зажмури глаза! И опрокинет сразу и разметет все эти приставные кусочки, все заплатки, приметанные, как это часто бывает, не под цвет, не к масти, некстати...

И человек становится вдруг неузнаваемо лучше: мягче, чище, гораздо красивее душой... Перерождается? Нет, только припоминает свои детские восторги, от которых когда-то он не мог удержать слез...

Витя Зарубин только что вышел из детского возраста, но не успел еще стать не только взрослым, даже юношей, а жизнь принялась уже, действуя жестоко и неистово, отрывать от него родной город, давший ему столько ошеломляюще изумительных минут, сливавшихся в часы, дни, недели и месяцы... Притом отрывать воочию, под гром несмолкающих канонад, и замещать тоже воочию многие знакомые до того, что стали живыми, дома — руинами, знакомых до того, что стали уже родными, людей — растерзанными трупами, и свои с детских лет окрестности города делать недостижимо чужими.

На горе Рудольфа, например, или, как проще говорили все, «на Рудольфе», вместо бывшего там издавна загадочного и потому заманчивого хутора, обнесенного яркой и веселой каменной стеной, стояли теперь за рыжими, неопрятными на взгляд валами французские батареи, деятельно, дом за домом, разрушавшие город...

Фрегаты, корветы, бриги, особенно живописные по вечерам, когда косые солнечные лучи нежно и радостно золотили тугие их паруса, выходили, бывало, неодолимые на вид один за другим колоннами, волнующими детскую душу до последних глубин, из синей бухты в открытое море, — свое, родное Черное море...

Теперь многих из них уже не было и в помине, на остальных паруса не золотили по вечерам, — они были сняты со всех; траурный вид имели

остатки бравой так еще недавно и многочисленной эскадры.

Даже и Черная речка, при всем своем мелководье доставлявшая когда-то столько радости, особенно весною, когда в рыбацком тузике можно было пробираться по ней вверх между густейших камышей и осок, действуя попеременно то рулевым веслом, то шестом, — даже и она была теперь отхвачена от города врагами, и было бы странно увидеть вдруг на ней рыбацкую лодчонку...

Подбирались все ближе, заседали... Потерю кладбища в ночь на 12 мая Витя переживал, может быть, даже острее, чем Тотлебен или Хрулев, для которых это кладбище было только стратегическим пунктом: ведь могилы их дедов, дядей, бабушек были не здесь, а где-то совсем в другом месте.

Такая умиляюще прозрачная, когда купаешься, бывало, и смотришь в нее, ныряя, вода в бухте около огромных скользких камней, таинственно бородастых от зеленых водорослей!.. Там где-то глубоко таятся в ней разные замысловатые чудеса: цветистые, расписные, с раскидистыми перьями плавников, морские петухи; огромные, до пуда весом, бородавчатые, белобрюхие камбалы; стройненькая, верткая, как буравчик, пестренькая скумбрия; розовая, нежная и в то же время длинноусая султанка; горбыли, ласкеря, бычки, кефаль, зеленушка — все это выволакивалось на берег рыбаками, бывшими матросами флота, конечно, все это переливисто сверкало на солнце в их корзинах и просто в яликах на причале, — дары Севастополю от родной его бухты...

А летние поздние вечера на этой бухте, когда всюду на воде, куда ни глянешь, певучие или хохочущие шлюпки, а вода под взмахами весел вспыхивает и горит радостными огоньками!.. Потухают одни, тут же рождаются другие, вспыхивают и гаснут, вспыхивают и гаснут без конца, — бухта живая, бухта сама как бы иллюминуется празднично, а вода у берега вдоль бульвара Казарского совершенно внятно шепчется с бородастыми камнями: шу-шу-шу-шу-шу-шу...

А эти обычные из года в год майские вечера, когда всюду на улицах непроходимо плотно стоял одурманивающий блаженно аромат цветущей во всю мочь белой акации!.. Вот май, тоже май, а сколько осталось теперь акаций в городе?.. Они цветут, конечно, и теперь, эти

кое-где уцелевшие акации, но едкий пороховой дым так глубоко и так прочно застрял в ноздрях, что разве пройдет сквозь него запах хоть каких угодно цветов!..

И если ловят что-нибудь теперь в бухте, то разве только денщики флотских офицеров примащиваются скуки ради с удочками на ютах кораблей и вытаскивают кое-какую мелочь, косясь при этом на небо, откуда того и гляди шлепнется в воду ядро или бомба и поднимет выше борта корабля белый фонтан.

И если вспыхивают по ночам на поверхности бухты огоньки от весел, то ничего веселого нет уже в этих огоньках; напротив, они похожи на копеечные свечи, какие зажигает и бухта тоже по бесчисленным убитым и умершим от ран, тела которых перевозят через нее на баржах с Южной стороны на Северную, на Братское кладбище...

Тем более что ведь среди этих убитых много матросов, бороздивших эту бухту в течение долгих лет своей здесь службы... Матросы! Разве не они и были так еще недавно — месяцев девять назад — почти весь Севастополь? Что такое был бы Севастополь, не будь в нем матросов? Обыкновенный город, даже, пожалуй, городок на морском побережье, каких немало на юге России. Но ведь Севастополь был единственным благодаря матросам, заполнявшим в праздничные дни все его улицы, если эскадра была на якоре, в порту.

Они шли тогда, плотно сбитые, с обветренными, пышущими лицами и дюжими красными шеями, тысячами — живая и подлинная мощь России... Они и теперь стискивают зубы, когда их ранят, даже и смертельно, чтобы не вопить, не стонать, как это делают часто пехотные солдаты. Но их все-таки часто ранят на Малаховом и на других бастионах, и — увы! — многих смертельно, если не убивают на месте, больше штуцерники из неприятельских окопов, чем артиллеристы, и в этом все уже, все беднее, все сдавленной становится Севастополь.

На матросах-то именно и заметно это более всего: когда слишком уж редуют пехотные полки, их отправляют на отдых и пополнение в резерв, а на их место присылают другие, иногда даже совершенно свежие, полного состава; но кем же заменить матросов? Некем, — их и не заменяют, и они тают стремительно. Разве что вместо убитого отца-

матроса придет с Корабельной его десятилетний сынишка Николка Пищенко, соврет, что ему не десять, а целых одиннадцать лет, и будет слезно просить лейтенанта, командира батареи, чтобы позволил ему пострелять из мортирки, а потом так и останется около этой мортирки лихим наводчиком: в отцовском бушлате, который ему по колени, и босой, циркающий через зубы для пущего удалства, когда ему кажется, что прямо на него летит французская граната.

II

Николке Пищенко сам Горчаков, побывавший на батарее, навесил на бушлат серебряную медаль. В первые дни после того Николка важничал, все скашивая на эту медаль глаза, потом привык.

За вылазку в ночь с 1 на 2 мая, в которую напросился Витя, он, по представлению командира отряда, майора Колыванского полка Колесникова, получил георгия из рук самого Хрулева. При этом Хрулев счел нужным поцеловать его так крепко, что долго потом чувствовал Витя на своих губах запах его насквозь прокуренных жуковым табаком черных усов.

Кроме того, Хрулев сказал ему тогда:

— Я тебя, братец, хотел представить в прапорщики вместе с твоим товарищем, ординарцем Сикорским, еще за дело десятого марта, да что-то, признаюсь, показался ты мне тогда очень молод для прапорщика — совсем мальчишка еще... Теперь ты как будто повозмужал немного, теперь, так уж и быть, представлю.

— Неужели в прапорщики, ваше превосходительство? — придушенно спросил Витя, и такое недоумение было написано на его лице, что Хрулев отозвался удивленно:

— Недоволен, что ли?.. Чего же ты хотел бы? Что бы я тебя сразу в поручики?

— Я моряк, ваше превосходительство... как же так в прапорщики? — еле проговорил Витя, умоляюще глядя на Хрулева.

— Фу ты, черт! — рассмеялся тот его убитому виду. — Подумаешь, как это его испугало стать прапорщиком! Я, когда прапорщика получил, как козел прыгал!.. Ну, в таком разе, в мичмана, конечно! Совсем я забыл, что ты юнкер флота, а не армеец... Значит, в

мичмана, так и напишем!

Это был день не то чтобы торжества Вити, а какой-то очень большой приподнятости и беспокойства в то же время. Хотя с одной стороны, по примеру всех кругом, принимая месяц за год, он и насчитывал себе уже шесть полных лет службы в Севастополе, но все-таки не мог забыть, конечно, что ему всего-навсего шестнадцать лет; однако же ведь на это не посмотрят, раз он будет уже мичман: офицеров не хватает; могут дать очень ответственное какое-нибудь поручение, с которым он не справится, а между тем война немогузнайства не терпит, и если потребуется распорядиться, надо будет это сделать уже по-офицерски; что простительно было юнкеру, того нельзя будет простить мичману, и с седоусыми, старых сроков службы, матросами надобно будет держаться как-то совсем иначе, по-начальнически, а не так, как привык уже было держаться он.

Зато отец как был рад, когда явился домой Витя с новеньким солдатским Георгием и тут же с порога сказал, что пойдет о нем представление в мичмана! Чего еще более блестящего мог бы пожелать старый инвалидный капитан 2-го ранга своему шестнадцатилетнему сыну? Он даже как будто растерялся от того, что затаенные желания его исполнились так вдруг.

Это было в середине мая, когда после жестоких ночных боев за кладбище наступило некоторое затишье.

Разговор между выбывшим из строя отцом и слишком юным для того, чтобы быть командиром, георгиевцем-сыном после первых радостных объятий и восклицаний перешел на деловую почву. С понятной встревоженностью, которую незачем было скрывать перед отцом, говорил Витя:

— Когда получу мичмана, могут ведь поставить на батарею, а это совсем не то, что быть ординарцем: придется за все отвечать и за людей своих тоже...

— Ну, еще бы, еще бы, — сразу согласился отец. — То ты чужие только... чужие приказания передавал, а то... самому приказывать... разница большая!

— Вдруг опоздаешь, а ведь это же бой, — разве можно?.. Или дадут тебе на батарею солдат, — матросов уж мало осталось, — солдаты

Литовского резервного батальона обучаются артиллерийской стрельбе на Северной, их и присылают на бастионы, а солдат куда же против матроса годится около орудий? Будет копать зря, а ты за него отвечай!.. Об лейтенанте Титове ты ничего не слышал, папа?

— Как же, как же не слышал! Ранен бедняга в грудь навывлет... Жалко, жалко беднягу... Не поправится, нет... Будет чаврить, чаврить... а в результате... — И Иван Ильич выразительно стукнул своей палкой в пол.

— Так это ты о младшем Титове слышал, или даже я сам тебе говорил... А старший брат? Не слышал? — пытливо поглядел Витя.

— Что он? Тоже ранен? — забеспокоился отец.

— Контужен был в голову, лечился в госпитале, да рано очень выписался, должно быть. Ему и командир пятого бастиона, капитан Ильинский, тоже и другие офицеры говорили: «Не рано ли? Полежали бы еще с неделю...» Но он напустил на себя храбрости, хоть отбавляй, — и на свою батарею... А батарея — это не госпиталь, — у него же, может, от пальбы голова болела. Он ночью в блиндаже лежал, а нужно было около орудий стоять: французы в наступление пошли... картечью их!.. А батарея Титова молчит, точно так и надо. Ильинский беснуется, конечно...

— Образцовый офицер — Ильинский... Образцовый, — вставил Иван Ильич.

— Необразцовому не дали бы бастиона. Кричит: «Где же этот Титов?» Титов из блиндажа выходит, а пальбу открыли уж без него, конечно, без его команды, — только все-таки опоздали открыть... Французов отбили, положим, но ведь без замечания это сойти Титову не могло, — Ильинский на него накинулся потом: «Как же так можно? Вы батареей пришли командовать или в бирюльки играть? А если бы вам благодаря французы бастион заняли? Что тогда? С меня голову долой? Нет-с, ваш брат не так службу нес, как вы! А вы честь своего брата-героя подрываете, вот что! Спросят: «Кто это огня вовремя не открыл?» — «Лейтенант Титов!» — «Вот тебе на, скажут, лейтенант Титов всей России известен, не только всему Севастополю, — и французам тоже; сколько он им насолил вылазками, — как же это он такого зевка мог дать, этот лейтенант Титов?» Не будут ведь разбирать, какой именно

из двух братьев опоздал с огнем...» Ну, в этом роде отчитывал его так при публике, а у того и без замечаний голова не в порядке... Ночь до утра простоял на батарее, а утром, когда уж совсем рассвело, пошел на бруствер и стал там.

— На бруствере стал?

— На самом бруствере... Стал, как столб, и руки по-наполеоновски... А стрелкам-французам только того и надо. Матросы кричат Титову: «Ваше благородие! Что вы там стали! Сойдите!» А Титов им: «Смотрите, ребята, как лейтенант Титов сейчас умрет!» Матросы, конечно, из-за банкета подняли крик: «Слезьте, ваше благородие! Мы и так знаем, что умереть не побоитесь, когда надо! Слезьте!» А он стоит, руки скрестил и на французские окопы смотрит...

— С ума сошел! — всплеснул руками Иван Ильич.

— Может быть, от контузии повредились мозги, — согласился Витя. — Слишком рано выписался.

— Ну, и что же... что же?

— Что же еще могло быть? Убили, конечно... Брату одна пуля, а ему целых три в грудь попало, так и свалился за банкет, — наповал! — энергично махнул рукой Витя.

— Ай-ай-ай, какая жалость! — сморщился отец. — Да ведь это что же такое?.. Само... самоубийство, выходит, а?.. Самоубийство!.. Это... это, стало быть, замечания... замечания начальника, значит, не перенес!.. Вот! Самолюбие... во время военных действий. Стыдно!.. Как же его звали, а? Я уж что-то не помню... Федор, кажется, Титов?.. Или это — младший Федор...

— Не знаю, как его звали... Каждый флотский офицер на бастионах дорог, а он...

— Стыдно... стыдно... Больной, впрочем... Жалко... А, может, тебя, Витя, все-таки, а?.. все-таки в ординарцах оставят?.. Сохраннее... было бы сохраннее... — осторожно заметил отец, пристально поглядев на сына.

— Будто Чекеруль-Куша, ординарца, не убили десятого марта, папа, я ведь тебе говорил!.. А то вот, вчера только, боцмана Барабаша у нас, на Малаховом, убило ядром. Пуля его ни разу не тронула, так что он насчет пуль был спокоен. Так и говорил: «Не отлили еще, не

доставили на меня пулю...» О пулях не беспокоился, а про ядро забыл. Оказалось, что ядро отлили и доставили... А знаешь, папа, кстати, что на днях наш Юрковский говорил? Будто Корнилов, адмирал, от какой-то шашки чеченской погиб.

— Как же так от шашки? От какой такой это... шашки?.. От ядра ведь... Что ты болтаешь? — всполошился Иван Ильич.

— Ядро ядром, конечно, а шашка какая-то тут тоже замешана... Получается так, что если бы не шашка, какая была тогда на Корнилове, он бы, может, и не погиб...

— Вздор какой-то! — вытаращил глаза отец, а сын продолжал, пожимая плечами:

— Чепуха, конечно, а почему-то Юрковский рассказывал же! Сам же над этим посмеивался, а на других все-таки поглядывал, как они отнесутся... Ты лейтенанта Железнова помнишь, папа, или уж забыл?

— Железнова?.. Это адъютант... адъютант Корнилова был!.. Как же не помню... Убит был, на пароходе «Владимир» убит.

— Ну, вот то-то и дело, что убит... И только он один из всех офицеров тогда и был убит, больше никто, а пальба была большая...

— Часа... часа два никак, а? — поискав в закоулках памяти, с усилием сказал Иван Ильич.

— Да-а, не меньше, говорят... И Железнов стоял рядом с Корниловым, а ядра с турецкого парохода этого... как его, папа? Вылетело совсем из головы!

— «Перваз», кажись...

— «Перваз-Бахры»... Ядра с него на палубу ложатся, большой треск идет... Корнилов смотрел-смотрел — ничего не выходит: может, мы его подобьем, а может, он нас подобьет. Командует, чтобы паров поддать, — и в картечь... Вот тут-то Железнов про шашку и вспомнил... Это была его шашка, он ее в Сухум-кале за тринадцать рублей купил... Показывает потом другим: «Да это же, говорят, чистейшая дамасская сталь! Она не тринадцать, а все сто рублей стоит». — «Вполне, — говорит Железнов, — сто рублей стоит, да никто за нее и тринадцати не давал». — «Почему же это?» — «Да так уж известно почему: головы бараньи, вот почему. Шашка, мол, это наговорная, и кто ее только в сражение наденет, тому капут! Она уж на тот свет столько

отправила владельцев своих, что и не счесть, — старинной работы шашка!» Железнов, конечно, хохотал, когда это рассказывал, а шашка оказалась такая, что любую другую, какую угодно, с одного удара пополам! А на самой и зазубринки нет... Ну вот, когда Корнилов командовал идти на сближение, а Бутаков приказал поддать паров, Железнов соображает: придется пароходам сцепиться на abordаж, начнется свалка, тут-то ему шашка его и пригодится. Идет в каюту... Корнилов ему кричит: «Захватите мне пистолет, а то в случае чего, — адмиралу русскому в плен сдаваться не годится, — чтобы было из чего пулю себе в лоб пустить!..» Железнов Корнилову принес пистолет, а себе нацепил свою шашку. И только что подошел «Владимир» на картечный выстрел, турки хватили картечью... Железнову попало в голову, — и десяти минут не жил после того, «Перваз-Бахры» этот захватили, а имуществу Железнова сделали опись потом. Вот тогда-то Корнилов и взял себе его шашку на память, — Железнова он очень любил, — так шашка поселилась у Корнилова...

— Ничего... ничего не слыхал про это! — закачал седой ершистой головой отец.

— Корнилову говорили, конечно. «Смотрите, ведь шашка-то, говорят, какая-то наговорная, да и по лейтенанту Железнову судя, что-то такое есть в самом деле... Побереглись бы, ваше превосходительство!» — продолжал Витя. — Но Корнилов разве такой был, чтобы обращать на это внимание? Он только: «Пустяки, говорит, ерунда и суеверие бабье!» И как раз пятого октября, когда бомбардировка открылась и к штурму готовились, шашку эту на себя и надел, а раньше ни разу не надевал. Штурм, союзники врываются в Севастополь, — улыбнулся Витя, — на улицах свалка, сеча, — вот тут-то шашке этой и будет работа! А шашка кавказская довела его до Малахова и — под ядро!.. Главное ведь, что и сама только и жила: пополам ее ядро перехватило прежде, чем ногу Корнилова оторвать...

— Ты что-то такое интересное тут рассказываешь, Витька, — появилась как раз в это время в комнате Капитолина Петровна с Олей.

— Ер-рунда! — махнул рукой Иван Ильич, а Витя заговорил, обращаясь теперь уже к матери:

— Вот все так, мама, говорят: «Ерунда! Суеверие!» А все, между

прочим, один другому рассказывают, пока по всему гарнизону не разойдется ерунда эта... Адмирала Корнилова убили с шашкой на боку, адмирала Истомина без шашки, а в общем не все ли равно? И при чем тут, спрашивается, какая-то наговорная шашка?

III

Восемь с половиной месяцев протянулось уже с тех пор, как маленькая Оля услышала, что к Севастополю идут французы, англичане, турки, и каждый день потом все лучше, все точнее узнавала она, что это значило.

Пришли — и загремело со всех сторон, и не перестает греметь: ни одного дня не было, чтобы не гремело совсем. На улицах везде валяются ядра и мусор от разбитых домов и церквей; от дыма часто нечем бывает дышать; иногда приходится тащить узлы в Николаевские казармы и просиживать там неделю и больше, потому что больше уж негде спастись, а земля все равно и там дрожит от пушек, и кажется, что вот-вот она провалится и рухнет в море весь Севастополь со всеми домами, казармами и людьми...

И все спрашивают папу и маму, почему же они не уезжают, и папа смотрит в это время на маму, а мама на папу, и папа бормочет: «Ведь все время, все время я говорю, что нам надо уехать...» А мама поправляет его: «То есть, вернее, это я говорю все время: уедем из этого ада куда-нибудь, уедем!» — «Да мы и уедем, конечно. Разве здесь можно оставаться дольше?» Но потом почему-то все-таки не уезжают...

Витя ходит уж сколько времени в солдатской шинели, Варя — в коричневом платье, и когда приходит домой Варя, от нее так пахнет и лекарствами и еще чем-то тяжелым, что все время за нее страшно, как это она терпит там, у себя на перевязочном. Ведь вот же лежала уж она больная, и говорили, что может помереть, а если опять заболит и будет лежать и... помрет?

Оля раньше любила читать книжки, теперь уж она редко бралась за них. Теперь перед ней открывалась страница за страницей такая страшная книга жизни, что ее прежние книжки стали казаться ей скучными, ненужными: прочитает несколько строк и бросит.

Она и сама не замечала, как становилась с каждым месяцем старше не на год, как защитники Севастополя, а гораздо больше, оставаясь в то же время ребенком. Ей приходилось видеть убитых ядрами и разорванных бомбами на улицах, а это и детей старит. Она вытягивалась однобоко, по мере того как Севастополь тоже вытягивался, напрягался всем своим телом, боролся с противником вполне ощутимо даже для глаз маленькой девочки.

Купол Михайловского собора в нескольких местах уже был пробит ядрами и светился насквозь, как решето; непонятно было Оле, как и почему он еще держался, не падал; кондитерская Иоганна, над дверями которой всегда так ярко сияла большими золотыми буквами вывеска, а около дверей две другие разрисованные такими вкусными на вид тортами и печеньями, теперь уже ничего не продавала, двери ее были сняты, полки, на которых стояли коробки с конфетами, пирожными и сладкими слоеными пирожками, были все разбиты в щепки залетевшей сюда через крышу бомбой... Все лавки на Екатерининской и на Морской были уже брошены купцами: одни из этих купцов перебрались в Николаевские казармы, другие — на Северную, третьи еще дальше — на Инкерман, на Бельбек...

Только один крендельщик-грек, маленький, кривоногий и кривоносый, черный, с желтыми глазами, пока никуда не уходил из своей лавчонки в подвале под толстой каменной стеной, и когда Оля с матерью ходила что-нибудь купить на обед, то непременно заходили они к этому греку. В лавчонке он не сидел; сзади нее было у него еще какое-то совсем темное логовище, и он выползал оттуда, когда они входили, точно краб из трещины в камнях... Сам ли он пек свои бублики, или только торговал чужим изделием, Оля не знала, — даже и не поднимался в ней этот вопрос.

У этого же грека продавались и сахарные сушки по четвертаку за фунт и пряники по гривеннику штука, и мать Оли говорила о нем, что он добросовестный, что такие же цены на сушки, пряники и бублики держатся и в Бахчисарае. На улицах же, на тротуарах, около бывших лавок, во многих местах стояли складные столики, с которых торговали и греки, и русские, и караимы турецким табаком, лежавшим кучами, сигарами в коробках и серными спичками в желтых бумажках.

Около этих столиков всегда толпились покупатели в серых шинелях внакидку, так что столешники торговали бойко.

Все кругом Оли как-то и чем-то жили, точно так же как и они трое у себя в доме, в котором не было уже стекол в окнах, и негде их было взять, чтобы вставить, — да и кто стал бы их вставлять, — где теперь стекольщики?

Все кругом нее думали, конечно, только о том, как бы остаться в живых, но в то же время очень привыкли все к мысли о смерти, и она тоже. Если чего и боялась Оля теперь, то только того, чтобы не убило ее мамы раньше, чем ее убьют. Она почти не отходила теперь от матери и даже спала с нею рядом на одной постели, обняв ее и шепча, когда засыпала:

— Уж если бомба к нам, так чтоб обеих вместе...

Витя, который все время был там, на Малаховом, где пули так и жужжат, а ядра и бомбы падают то и дело, Витя чем дальше, тем больше казался ей существом необыкновенным и вместе с тем обреченным. Она глядела на него, когда приходил он, и с восхищением и с тоской.

И в этот приход его, чуть только дотронувшись до его новенького белого крестика, не умилилась она, а напротив, какую-то очень острой и недетской, а скорее материнской жалостью пожалела старшего брата и стремительно кинулась вслед за матерью на кухню не затем, чтобы помогать ей ставить самовар, а чтобы постоять там около окна и про себя поплакать. Она уже научилась это делать — плакать про себя даже так затаенно, что мягкие неочерченные еще губки ее складывались при этом в подобие улыбки.

Повторив вкратце матери рассказ о кавказской шашке на Корнилове, Витя стал говорить с отцом о левом фланге русских и правом фланге союзников. Отец воодушевился. Стуча палкой в пол, он двигал по этому полу от кресла к столу воображаемые сильнейшие подкрепления, которые частью пришли уже, частью идут и скоро придут к Горчакову и отбросят союзников к их кораблям.

От кого-то успел уже услышать он, что в недавнем деле на кладбище и у Карантинной бухты союзники понесли очень большие потери, и он сказал об этом Вите, а Витя подхватил оживленно, подбросив голову:

— Ого! Им, конечно, всыпали по первое число! Девять тысяч у них убитых и раненых, — вчера дезертиры их говорили. Им еще надбавили ихние же пароходы, какие из Карантинной бухты по нашим должны были садить, а по своим вместо наших лупили!

— Ну вот! Ну вот!.. Вот видишь!.. — сиял отец, но, подумав, добавил:

— А как же все-таки... Как же это могло случиться, а?

— Очень просто! Должны были бить по нашим траншеям и резервам, а наши житомирцы как раз в это время отступили и траншеи очистили, — вот вся порция французам и досталась: в темноте ведь не видно было с пароходов, в кого они палят. Так и получилось, что французские моряки своей же французской пехоте шею накостыляли. Тут их полегло — тьма! А мы у себя только и мечтаем, когда они на наш участок штурмом пойдут. Ох, мы их, дружков милых, и встретим! Пускай, конечно, бока почешут сначала после кладбища, а мы подождем, мы не торопимся.

Говоря это с нарочитым подъемом, Витя ласкал прильнувшую к нему Олю, тихонько щекоча ей шейку под острым подбородком. Оля же не смеялась при этом, как ему бы хотелось, — она смотрела на него очень серьезно и спросила вдруг тихо:

— А если они вас одолеют?

— Не бойся, не одолеют! — усмехнулся ей Витя.

— Ну, а если, если одолеют, тогда что? — повторила она упрямо-устало.

— Если одолеют, то есть очень крупные силы для этого бросят на нас, — проникся ее серьезностью старший брат, — ну что ж, тогда мы у них назад все отбивать будем и отобьем. Наш участок самый важный для Севастополя, это всем известно, его отдавать нельзя... А если случится, то мы его в их руках ни за что не оставим!

И Витя задорно вздернул голову и крепко стиснул зубы, а Оля перевела вопросительно глаза с брата на мать.

Такие обыкновенные за последние месяцы, успевшие уже затрепаться слова «отбивать будем», «отобьем» встали перед Олей в испытанном уже ею не раз объеме своего смысла: загрохотали непереносимой для слуха канонадой, зардели тысячами огней от снарядов в страшном ночном небе, зачернели длинными рядами носилок, из которых капает

кровь, перед перевязочным пунктом в доме собрания, где работает Варя... И одиннадцатилетняя годами, но слишком много даже и для любого взрослого пережившая девочка тихо вывернулась из-под руки своего воинственного брата и уткнулась в мягкую грудь матери — свой последний оплот.

IV

Война и материнство — кажется, трудно найти какие-нибудь еще два понятия, более противоположные, чем эти, и в то же время Капитолина Петровна, олицетворенное материнство, смотрела на своего сына Витю с затаенной гордостью под напускной иронической, несколько даже суровой миной.

Внешне она с ним держалась так, как будто все еще не могла забыть и простить его самовольного волонтерства, сбившего с толку, между прочим, и Варю; внутренне же она одобряла и его и Варю. Внешне она не переставала сокрушаться, зачем остались они все в Севастополе; внутренне же никак не могла найти в себе решимости оторваться от Севастополя, несмотря на то, что со всех сторон им угрожала в нем смерть.

Она не только не была ни капельки героиней, но даже и не понимала, как это может кто-нибудь предполагать в женщине какое-то там геройство, если только он не круглый дурак. И в то же время ежедневно ходила то одна, то с Олей по улицам, в которые залетали и ядра, и бомбы, и ракеты.

Однако она очень резко разграничивала: это улицы, привычные с далекого детства, на которых стало, конечно, опасно, но все-таки это были улицы, — и бастионы, на которых ежедневно и еженощно воют. По улицам приходится ходить, конечно, за тем, за другим по хозяйству, но никто не заставил бы ее ходить по бастионам и редутам, где женщине совсем не место и не к лицу быть.

И вдруг она услышала, что ее Витя оживленно и весело начал рассказывать о женщине, которая не только раз-другой прошлась по редутам, когда не было стрельбы, а поселилась у них там, на Корниловском бастионе, и живет среди солдат и матросов, в их больших блиндажах, хотя Хрулев и приказал сделать для нее

блиндажик офицерского типа и такой блиндажик скоро соорудили; и что женщина эта — Прасковья Ивановна — не только не боится никакой стрельбы, ни штуцерной, ни орудийной, но всегда балагурит, всегда весела сама и всем вместо «здравствуй» и «до свиданья» говорит «будь весел» и всем, даже самому командиру бастиона Юрковскому, говорит «ты».

— Сумасшедшая какая-то! — решила Капитолина Петровна, хлопнув руками по коленям.

— Да нет, не то чтобы сумасшедшая, — начальство этого не находит, матросы и солдаты тоже, — улыбаясь, говорил Витя, — а какая-то муха у ней в голове, должно быть, жужжит... Вчера, например, разделась около блиндажа и давай водой обливаться, — жарко ей стало, нет мочи. А жарко оттого, что Горчаков сам ее к себе на Инкерман вызвал посмотреть, что это за сестра милосердия у нас на бастионе поселилась. Наша Прасковья Ивановна командует казакам: «Давай лошадь мне верховую, пешком к нему не пойду, шесть верст киселю месить... Да он еще, князек-то, пожалуй, меня, бабу простую, и за стол не посадит и чаем не напоит, так вы мне хоть бутылки две квасу на дорогу захватите!» Дали ей лошадь. Залезла Прасковья Ивановна на казачье седло. «Вот, говорит, черт те что, а не седло, — голубятня какая-то. Ну, поехали к князьку! Будьте веселы!» Лопух свой белый надвинула поглубже да так вшпарила, что только казакам впору!

— А что же она делает там у вас? — удивленно подняв чуть заметные бровки, спросила брата Оля.

— Как так «что»? Ведь она же сестра милосердия, все равно как Варя наша, — вот всем там у нас, кого ранят, она перевязки и делает.

— И будто хорошо делает? — усомнилась Капитолина Петровна.

— Да не хуже любого фельдшера... Ручищи у нее толстые, а действует проворно, я это сам видел. Перевязет солдата, хлопнет его ручищей по спине: «Ну, будь весел». Солдат, может, и смертельно ранен, а все-таки улыбнется.

— Ну, что же, как... как с ней тот... князь Горчаков? — с большим любопытством спросил Иван Ильич, стукнув палкой.

— К вечеру вернулась, мы к ней, конечно: «О чем, мол, Горчаков

говорил?» Наплела нам она чего-то, и поверить трудно. Будто она с приезде говорит князю: «Только чаем меня сначала напои, а то и говорить ничего не стану: покамест сюда к тебе доехала, вся глотка высохла, как дымовая труба!»

— Сумасшедшая и есть! Разве так говорят с главнокомандующим? — махнула рукой Капитолина Петровна в знак полной безнадежности.

— «Я, — говорит будто бы Горчаков, — не только тебя чаем напою, а еще и к ордену думаю тебя представить или же сам тебе орден навешу». — «Да ты мне какой же это орден думаешь навесить, говорю, небось анну в петлицу? А я, брат, такого не возьму даже! Ты мне, дорогой, анну на шею навесь!..» Вот будто бы как она с главнокомандующим разговаривала, наша Прасковья Ивановна! — улыбаясь, рассказывал Витя, невольно подражая при этом грубому и густому голосу бастионной сестры милосердия, совсем не похожей на сестер из госпиталей и перевязочных пунктов.

Капитолина Петровна после этого даже не сказала и «сумасшедшая», а только махнула рукой. Не сумасшедшей, а просто даже и женщиной не хотела она счесть какую-то там Прасковью Ивановну с толстенными ее ручищами и мужичьими ухватками.

Женщина в ее представлении была мать — в настоящем ли, в прошлом, или в будущем; не «сестра» хотя бы и «милосердия», а только мать. И как бы затем, чтобы подчеркнуть это для себя самой, она, сравнивавшая во время рассказа Вити эту живущую в блиндаже с матросами и способную обливаться при них водою из ведра Прасковью Ивановну со своею дочерью, сказала сыну:

— А ты знаешь, что наша Варя выходит замуж?

— Вот как! — удивился Витя. — Выходит? За кого же? За Ипполита Матвеевича?

— Нет. Этому Дебу полный отказ... За сапера, поручика Бородатова.

Витя представил Бородатова, как держался он разжалованным — унтер-офицером — и как по одной походке его даже и сзади угадывался в нем не только офицер, но еще и человек выдержанный, строгий к самому себе и к другим, подобранный, четкий.

Особенно яркие были в этом представлении всегда внимательные, пристальные, серьезные и вместе с тем чистые голубоватые глаза

Бородатова, и, сразу сделавшись от одного взгляда этих мелькнувших в представлении глаз серьезным сам, Витя ответил матери:

— Что ж, по-моему, Бородатов, если он только совсем поправился, будет нашей Варе очень хороший муж.

V

Когда Варя в первый раз появилась на перевязочном пункте, она едва удержалась от тошноты и от сильнейшего желания выбежать тут же вон, на свежий воздух и больше уж сюда не входить. Но молодость побеждает, как бы ни был разителен переход от того, что она видела в отцовском доме, к тому, что видит, бросаясь в жизнь.

Уже одно то, что Варя встретила в этой огромной, страшной и с чрезвычайно тяжелым воздухом палате другую девушку, светловолосую Дашу, вдруг подняло ее силы: если вытерпела другая, значит сможет вытерпеть и она. Даша и стала ее путеводителем с первых шагов в доме скорби, и, подражая ей, Варя через несколько дней помогала уже врачам в операционной при ампутациях, всячески стараясь, впрочем, не глядеть на то, что они делали. Но деловитые и совершенно спокойные за своей работой врачи были с нею очень любезны, Пирогов же отечески трепал ее по плечу или гладил по голове, однообразно спрашивая при этом:

— Ну что, как! Привыкаете? Молодцом, а?

И она однообразно тоже, но с каждым разом все уверенней в себе отвечала:

— Я уж привыкла.

На что Пирогов отзывался обыкновенно:

— Ну вот! Приятно, барышня, слышать! — Но недоверчиво качал плешивой головой и прищуривал и без того маленькие, глубоко в глазницах утонувшие глаза.

Привыкала она, правда, с трудом, однако не отступала, всячески борясь в первые дни с очень сильным желанием бросить все это втихомолку и бежать домой, чем донельзя будут обрадованы и отец, и мать, и сестренка Оля. Родной маленький домик на Малой Офицерской на первых порах вел в ней подспудную битву с этим большим домом

страданий около Графской пристани, и последний победил.

И если всепоглощающей страстью Вити стало «отстоять» и «отбить» тот или иной редут, ту или иную траншею, то и все ежедневные заботы Вари свелись постепенно к тому, чтобы отстоять, отбить у смерти раненых: вот этого и этого, и того — как можно больше и с наименьшими для них потерями.

Среди раненых были, конечно, такие, к которым она особенно привыкала: это — с «хорошими» ранами, то есть без признаков гангрены. Убеждаться в том, что твой уход за раненым явно ему помогает, было всегда и глубоко радостно Варе. А от такой радости до любви, пусть даже очень похожей на материнскую, был всегда только один шаг. Этот шаг и сделала Варя, когда на ее попечение попал раненый прапорщик Бородатов.

Уже одно то, что он был несколько знаком ей раньше, — приходил в их дом к Дебу, — и она его узнала, когда только что привезли его на перевязочный, — его решительно выделило; тревожное ожидание, что скажет Пирогов об его ране, его к ней очень приблизило, а длительный уход ее за ним сроднил их обоих.

Когда Бородатов стал поправляться и Варя находила время поговорить с ним, он с радостным блеском в пристальных глазах перебирал исхудалыми пальцами тонкие, но крепкие пальцы совсем еще юной девушки, в коричневом платье сестры, которой, как оказалось, были знакомы, хотя и в самых общих чертах, идеи Фурье, Сен-Симона, кружка петрашевцев, то есть именно то самое, что очень занимало и его, за что разжалован он был из поручиков в рядовые года три назад. Он знал, конечно, что у нее это было от Дебу, но ведь она могла бы пропустить мимо ушей разглагольствования много перенесшего взрослого человека о разных недетских материях, однако же не пропустила. И поскольку Бородатов понял, что в ее душу запало кое-что из того, что казалось ему наиболее ценным из его знаний, то и этого было довольно, чтобы он думал только о ней, когда ее не было около его койки.

Она стала необходима ему, он — ей. И наступил, наконец, день, когда он, уже поправившись настолько, что мог твердо ступать раненой ногой, сохраненной пироговской гипсовой повязкой, сказал Варе, что

единственное счастье, какого бы желал он в жизни, это — видеть ее своей женой.

Как бы ни был подготовлен этот шаг, как бы ни ожидала его втайне сама Варя, все-таки она была потрясена. Не только смысл его слов, — единственный, совершенно исключительный для девушки смысл, — но и те слова, какие выбрал этот ставший ей уже родным, бледный от долгого лежания на госпитальной койке, серьезный и с такими дорогими, внимательными глазами человек, — наконец, и самый тон, каким были сказаны эти слова, тон просительный, робкий, тревожный — все показалось ей незабываемо особенным, пересиявшим даже и полуденное солнце.

Это было накануне жестокого ночного боя за кладбище; тогда и на обоих перевязочных пунктах и в госпитале на Северной не было напряженной и спешной работы, и Варе выдались время и возможность навестить Бородатова.

Они стояли на дворе перед длинным каменным баракком госпиталя, покрытым не старой еще на вид черепицей. Пучки травы между розовым и голубым булыжником на дворе, сочные, оранжево-зеленые, почему-то дрожали в глазах Вари, точно передвигались к ней поближе. Чей-то верховой конь, рыжий, белоногий, потный около подпруги, привязанный уздечкой к столбу шагах в двадцати, тоже как будто не стоял на месте, а подступал как-то боком к ней вместе со своим столбом, и это не казалось ей неестественным. Густо-синяя длинная тень на белой стене барака, падавшая от нависшей изжелта-красной, яркой крыши, струилась, как ручей, подбегающий издалека к ней, Варе...

Были совершенно непередаваемые словами и неповторимые мгновенья, когда она чувствовала себя в середине, в центре всего, что около нее жило, сверкало, творилось, потому что он, Женя — Евгений Сергеевич Бородатов — только что сказал:

— Я был бы очень счастлив, Варенька, если бы вы согласились стать моею женой!

Она даже как-то не то чтобы не расслышала эти тихо сказанные слова, но не вполне ясно, отчетливо восприняла их... Только «был бы счастлив» и смысл остального, но и этого было гораздо больше, чем

могла она вместить.

Она всем своим телом ощущала его пристальный, встревоженный, ожидающий взгляд, но почему-то не в силах была поднять на него глаза, и дышать ей было трудно, сердце давало звонкие перебои, и руки дрожали.

А между тем в горячей голове толпилось и перескакивало в беспорядке множество мыслей, не столько мыслей, впрочем, сколько образов, наплывших сразу, мешающих один другому... И когда глаза ее, блуждая под отяжелевшими верхними веками по отдаленному, по крутизнам Сапун-горы, на которой клубились кое-где обычные серые полотнища пушечного дыма, восприняли эти серые клубы и довели до сознания, она ответила:

— Им ни за что не взять Севастополя нашего, — нет, не взять!

Это как будто совсем не было ответом ему, Жене, Евгению Сергеевичу Бородатову, который стоял с нею рядом и держал ее правую руку, несколько ниже локтя, в своей руке, и вместе с тем это было гораздо больше и значительней, чем если бы она проговорила смущенно, полупшепотом: «Я согласна...»

Она ответила, конечно, не ему, а себе самой на тот рой взметнувшихся в ней вопросов, которые все можно было бы свести к одному: «Хорошо, стать женой, — а что же дальше?..»

Этот длинный каменный барак был полон раненых; шла война; Севастополь полуокружен войсками союзников... Что, если они возьмут все-таки город? Где тогда будет их гнездо, которое теперь пока можно еще представить, конечно, там, в материнском доме на Малой Офицерской? Ответ ее этому рою тревожных мыслей вылился из роя других, не столько мыслей, сколько бурно закружившихся ощущений и своей, и его рядом, и всех, и всего кругом силы, по сравнению с которой ничтожной показалась вдруг сила союзников, девятый уже месяц окутывающих дымом Сапун-гору.

Когда она сказала о Севастополе, то подняла глаза, и Бородатову стоило только заглянуть в них, чтобы он ее понял и благодарно и радостно сжал ее руку.

Глава шестая. «Три отрока»

I

Став главнокомандующим французской армией, но с первых же шагов поставив себя в положение первого среди равных — главнокомандующих других союзных армий, Пелисье решил развить свой успех у кладбища и Карантинной бухты с наивозможной энергией.

Успех этот, правда, был куплен дорогой ценой, и в то же время из Парижа не представлялся ни очень видным, ни серьезным, но зато сам Пелисье не сомневался теперь, что его ожидают другие успехи, гораздо более показательные.

Однако, решительно отклонив план войны, присланный самим императором Франции, он видел, что должен действовать без малейшей потери времени, чтобы не только доказать Наполеону, что он, Пелисье, прав, но доказать это гораздо раньше, чем тот решится поставить на его место своего любимца Ниэля.

Уже на следующий день после занятия русских траншей на кладбище Пелисье дал возможность Канроберу «отличиться» в долине реки Черной. Он поставил его во главе большого отряда из четырех французских дивизий, — двух пехотных и двух кавалерийских, — к которому присоединились сардинцы, турки, английская конница, много полевых батарей, и все эти силы обрушились вдруг на русские посты около деревни Чоргун, а когда передовой русский отряд отступил, союзники начисто уничтожили весь брошенный им лагерь.

Сражения не было, только небольшая перестрелка, но все-таки создавалась видимость крупной победы, так как вся Балаклавская долина с водопоями на Черной и доступы в соседнюю Байдарскую долину с ее богатыми сенокосами отходили теперь к союзникам.

Сардинцы стали лагерем около деревни Комары, турки снова, как и перед сражением в октябре пятьдесят четвертого года, заняли редуты на Балаклавских высотах, а главное, все левое побережье Черной начало после этого деятельно укрепляться. Пелисье хотел окончательно обезопасить себя от возможного нападения русских со стороны Мекензиевых гор и Инкермана, хотя Горчаков и не помышлял

об этом.

Но, обеспечивая свой правый фланг, Пелисье стремился только к одному: разгромить и захватить левый фланг севастопольских укреплений, то есть прежде всего Камчатский люнет и редуты Селенгинский и Волынский, которые выросли так незаконно, вели себя так дерзко и стоили уже так много корпусу Боске.

Наступила устойчиво жаркая погода, и в середине мая русская армия в Крыму по приказу Горчакова вся вдруг побелела: солдаты сняли мундиры и надели белые рубахи-гимнастерки под форменные пояса с воронеными бляхами, а на фуражки-бескозырки напялили белые чехлы. Эти, с доброе колесо величиной, белые фуражки явились превосходной целью для неприятельских стрелков в ложементах, однако и горячее крымское солнце тоже не было своим братом, особенно во время тяжелых земляных работ. Работы же на Малаховом кургане и впереди его, между редутами, велись во второй половине мая усиленно, так как с русской стороны замечали оживленную деятельность у французов и англичан. Там расширялись траншеи, чтобы вместить в них как можно больше войск, устраивались, кроме того, укрытые плацдармы, устанавливались новые батареи осадных орудий, а старые усиливались преимущественно мортирами, весьма широкогорлыми, больших калибров.

К двадцатым числам мая можно уже было насчитать у союзников шестьдесят новых осадных орудий, треть из которых были мортиры; они еще не проявляли себя, они еще таились за закрытыми амбразурами, но направлены они были на «Трех отроков в пещи вавилонской», как назвал генерал Семякин три редута перед Малаховым и как это пошло по гарнизону.

«Три отрока» тоже готовились к отпору: по линии укреплений было поставлено несколько десятков новых орудий, но мортир из них только две, — неоткуда было взять больше. Зато усердно строились блиндажи, чтобы было где укрыться резервам от навесного огня противника. Наконец, снарядов по семьдесят в среднем было заготовлено на каждое орудие на случай открытия бомбардировки со стороны противника, и это было все, чем могли защитники укреплений встретить напор врага, в то время как Пелисье приказал подвезти к

своим батареям столько снарядов, чтобы их хватило на двадцать семь часов непрерывной канонады, за которой должен был последовать штурм, — около шестисот снарядов пришлось там на орудие.

И хотя для всех, от начальника Малахова кургана, капитана 1-го ранга Юрковского, до последнего матроса у орудий и рядового из прикрытия на Корабельной стороне, было ясно, что готовится что-то весьма серьезное именно на их участке оборонительной линии, главнокомандующий, князь Горчаков, старался смотреть на вещи гораздо шире и ожидал внезапного нападения союзных сил из-за Черной речки на свой левый фланг.

Этот вообразившийся ему коварный маневр всецело завладел его мыслями, и для противодействия ему он стягивал к Мекензиевым горам сколько мог пехоты и кавалерии. Кроме того, ему представлялось более чем вероятным, что Пелисье двинет на него не только сотысячную армию из Балаклавской долины, но и отряды из Евпатории и Керчи, чтобы попытаться отрезать ему отступление.

Вместе с тем и переданные ему сообщения из Вены сводились к тому, что между 26 и 31 мая, по старому стилю, союзное командование предпримет решительное наступление. Однако туманно было, куда именно намерены наступать союзники. Эта неизвестность совершенно извела Горчакова, а он задержал всех из своего штаба.

Впрочем, в том мнении, что союзники намерены окружить русские силы, двинувшись одновременно и со стороны Черной и от Евпатории, поддерживал Горчакова и сам царь, а Горчаков из своего долгого служебного опыта вынес стойкую мысль, что следовать «высочайшим предначертаниям» — самое безопасное во всех затруднительных положениях.

Однако, хотя три пехотных дивизии из Южной армии частью форсированными маршами, частью даже на обывательских подводах спешили в это время в Крым, чтобы стать его резервом, и хотя сам царь в своих последних письмах к нему допускал уже, что «обстоятельства могут принудить отступить к Симферополю», все-таки Горчакова так беспокоила участь севастопольского гарнизона, который вряд ли удалось бы вывести, что он даже заболел и именно к тем дням, когда решалась судьба «Трех отроков».

Правда, будь он и здоров, все равно изменить что-нибудь в надвигавшихся событиях было уже не в его силах, так как события эти оказались вполне подготовлены, назрели и предотвратить их в короткий срок было нельзя.

II

Между тем гарнизон Севастополя жил своею прежней жизнью ежедневной напряженной борьбы, не заглядывая так далеко вперед, как главнокомандующий войсками Крыма и юга России.

Если Горчаков думал только о том, как ему отстоять Крым, когда будет потерян Севастополь, то гарнизон Севастополя не допускал даже и мысли, чтобы Севастополь когда-нибудь взят был врагом.

Исполнялось почти уже девять месяцев со времени высадки интервентов в Крыму, но вера в силы России, — огромнейшей родной страны, у которой за глаза хватит — должно хватить! — и людей и всяких средств обороны, — не колебалась в солдатах, как бы трудно им ни приходилось на бастионах.

Когда после ночного боя 10–11 мая Хрулев поздравлял солдат с победой и кричал охрипшим несколько, но еще сильным голосом: «Благодетели!.. Вот одной всего только паршивой траншеишки не мог взять у вас неприятель за целую ночь, так куда же ему к чертовой матери Севастополь взять, а?» — солдаты в ответ любимому командиру кричали «ура» и бросали вверх фуражки.

Но на другой же день траншея все-таки осталась за неприятелем, потому что Горчаков приказал не тратить людей на ее защиту, и те же солдаты глухо говорили между собой, многозначительно кивая в сторону Северной:

— Измена, братцы!

Так как еще до разгрома Керчи в Петербурге были уверены, что готовится союзниками большой десант на Кавказе, то оба батальона пластунов были отозваны домой на Кубань. Хрулев после дела на кладбище, не откладывая, принялся заполнять пустоту, образовавшуюся с их уходом.

От каждого полка 8-й, 9-й и 11-й дивизий выбрал он по пяти человек наиболее сметливых и удалых, расторопных и зорких, бывавших не

раз в вылазках, секретях и ложементях и умевших толково рассказать, что удалось им высмотреть у неприятеля; они и были названы им пластунами, а чтобы обучить их как следует пластунскому делу, к каждой такой пятерке был назначен в дядьки настоящий кубанский пластун из тех охотников, которые пришли в Севастополь в начале мая.

Полковые командиры сшили новоявленным пластунам в своих швальнях папахи, бешметы, черкески с красными нагрудниками и патронами, и новички с первых же дней стали нести службу не хуже старых пластунов.

В дядьки в Камчатский полк зачислен был Хрулевым Василий Чумаков, и на другой же день, будучи в секрете со своей пятеркой впереди Камчатского люнета, он отличился, захватив в плен французского капрала.

Чумаков знал уже твердо, что секреты, располагаясь в темные ночи впереди укреплений, часто сидят всего в нескольких шагах от секретов противника. Поэтому днем он усердно учил свою пятерку, чтобы первый, кому случится увидеть, или услышать, или даже почуять носом подобный неприятельский секрет или патруль, предупредил бы об этом других негромким криком перепела: «Пить пора! Пить пора!..»

У пластунов было и несколько других подобных условных криков: под собачий лай, под кошачье мяуканье, под филина, под лягушку, но эти не подходили к местности, а перепелиный бой, как ему казалось, можно было допустить в мае под Севастополем. И когда со стороны двух особенно зорких лежавших впереди, в яме, пластунов донесся до него этот не совсем умелый, но старательный перепелиный крик, Чумаков понял, что французский патруль совсем близко.

«Пить пора!» — повторилось с небольшими промежутками шесть раз: это значило, что французов было в патруле так же шесть человек, как и их. Чумаков подождал еще, — не больше ли, — но перепел больше не бил, силы, значит, были равные, так что, если бы подползти всем им к противнику и кинуться в штыки, могла бы выпасть на их долю удача... Но французы по своей скверной привычке неминуемо стали бы стрелять при этом, а два-три выстрела, какие они, может быть,

успели бы сделать, подняли бы тревогу по всей линии, что уж совсем не годилось. Нужно было действовать как-то иначе, и Чумаков напряженно обдумывал, как именно.

Надо было действовать быстрее, так как случайно задержавшийся поблизости патруль, конечно, двинулся бы куда-нибудь дальше, чуть только бы утихла его подозрительность. И Чумаков решился.

Шепотом сказал он своим трем, чтобы подползли ближе к передним, сам же он выйдет вперед прямо к французам, а когда свистнет, чтобы все кидались к нему на помощь.

Он спрятал папаху в карман, а штуцер под черкеску и пошел прямо по направлению к французскому патрулю. Ему все казалось, что вот-вот как-то припомнится ему несколько французских слов из тех многих, которым учил его когда-то барчук Митя Хлапонин, но он ни одного не мог вспомнить, и только говорил вполголоса, как бы таясь от своих: «Перебежчик я, перебежчик!» — а сам думал в это время: «Что, как штыками полоснут?.. Хотя не должны бы...»

Патруль тут же окружил его, и один из французов неожиданно довольно чисто по-русски спросил Чумакова:

— А ружье где?

— Шапку потерял, ружье бросил, — ответил Чумаков, соображая, свистеть ли ему своим, или подождать немного, и придерживая всей пятерней левой руки штуцер под полою, а локтем сдавливая карман, оттопыренный папашой.

Переводчик что-то заговорил, обращаясь к старшему патруля — капралу. Капрал сейчас же отрядил четверых, по два вправо и влево, осмотреться, нет ли засады, а сам остался перед «перебежчиком» вдвоем с тем, что говорил по-русски. Он протянул Чумакову руку, тот подал ему свою и вдруг почувствовал, что капрал сильно тянет его в свою сторону, — зачем?

В темноте трудно было понять, что он хотел сделать, и Чумаков, хотя остался один против двоих французов, освободив левую руку, так что приклад штуцера, опустясь, стукнул его по ноге, бросился на капрала, свалил его с ног, зажал ему рот рукой и свистнул.

Около тут же заколыхалось четверо в лохматых папахах, и переводчик пустился бежать к своим ложементам, то же самое сделали, очевидно,

и остальные патрульные; они не явились на выручку своего капрала. Ему мигом скрутили руки и поволокли в укрепление.

Без пальбы, впрочем, не обошлась эта затея, — пальбу открыли французы, — но капрал все-таки был доставлен к командиру «Трех отроков», которым был генерал-майор Тимофеев, тот самый, который удачно провел вылазку Минского полка от шестого бастиона в день Инкерманского сражения.

Капрал был совершенно вне себя, что так глупо попался в плен, что его волокли по каким-то канавам и изодрали на нем мундир... Он кричал, что так с образованными людьми воевать нельзя; наконец, принимался плакать и рвать на себе волосы, выкрикивая при этом, что его могут пытаться, как угодно, но он все равно не даст никаких показаний на допросе, а себя непременно заколет ножом... Кое-как удалось его успокоить, и когда дня через два Чумакову захотелось проведать своего пленника, тот встретил его уже смеясь и показывая ему изодранную спину. Чумаков тоже показывал ему свою руку, искусанную им во время борьбы, и расстались они по-приятельски, похлопывая друг друга по плечам.

Пленный капрал мог и не давать никаких показаний: приготовления французов и англичан, направленные против «Трех отроков», были и без того очевидны. При этом опасались не только нехватки снарядов, но даже и патронов для ружей, почему объявлено было в полках, чтобы собирали неприятельские пули, за которые будет уплачиваться по четыре рубля за пуд.

И вот на бастионах и редутах появились в тех местах, куда падало особенно много штуцерных пуль, солдаты с мешками и прехладнокровнейшим образом собирали пули, хотя обстрел, конечно, не прекращался. Когда кто-нибудь из них был ранен, то передавал свой мешок товарищу, а сам тащился на перевязку. Иных, впрочем, и убивало за этим мирным занятием, которое у солдат добродушно называлось «ходить по ягоду».

За десять дней насобирали таким образом около двух тысяч пудов пуль, чего хватило бы на миллион почти зарядов. Французы долго не понимали, зачем русские солдаты ходят с мешками под самым ожесточенным обстрелом и то и дело наклоняются к земле; но когда

поняли, наконец, отметили это громкими аплодисментами из своих траншей и криками «браво» и на время даже прекратили пальбу. Однако потери среди «ходивших по ягоду» были так ощутительны, что адмирал Нахимов приказом по гарнизону отменил этот промысел.

Чтобы обезопасить Волынский редут от обхода по дну Килен-балки, Забалканский полк соорудил слева от него батарею на три орудия, которую так и называли Забалканской, и бодро ожидали защитники «Трех отроков» надвигавшихся событий, так как сделали для встречи их все, что могли сделать; но, может быть, эти события развились бы несколько иначе, если бы во главе обороны Корабельной стороны стоял не генерал Жабокрицкий.

Когда Хрулев перед делом на кладбище был отозван Горчаковым с Корабельной стороны на Городскую, его заместил было начальник 8-й дивизии князь Урусов; однако уже в половине мая Урусов был сменин Жабокрицким — тем самым, который пролежал со своей 16-й дивизией в оврагах на склоне Сапун-горы около двух часов, не оказав никакой поддержки Сойманову в начале Инкерманского побоища, и если бы не нашел его Тотлебен и не поднял бы с места, несомненно пролежал бы там гораздо дольше.

Когда принимал он после Алминского боя 16-ю дивизию, начальник которой — генерал Квецинский — был тяжело ранен, то проходил вдоль передних рот с пистолетом в руке и кричал владимирцам, казанцам, суздальцам:

— Смо-отри, ребята!.. У меня кто если покинет поле сражения — побежит то есть, проще говоря, как сукин-рассукин сын, — то я того мер-рзавца догоню пулей в заты-ылок!..

И он, высокий, но хлипкий, длинноносый и длинноусый, при этом багровел сплошь, выкатывал ястребиные глаза и потрясал пистолетом. «Три отрока» стали предметом особенного внимания интервентов с того времени, как было решено вести атаку не на четвертый бастион, а на Малахов курган. И Тотлебен, и Хрулев, и Урусов, зная это, всячески старались усилить наряды войск на их оборону. Тотлебен даже писал об этом Остен-Сакену в самых решительных выражениях: «Если прикрытие редутов не будет усилено до восьми батальонов, то редуты следует считать потерянными, и в таком случае необходимо

сделать неотлагательно все распоряжения для дальнейшей обороны Корабельной стороны, предполагая, что редуты перешли уже во власть неприятеля...»

Испуганный таким донесением, Сакен приказал отрядить для этой цели десять батальонов. Но вот назначен был Горчаковым начальником Корабельной стороны Жабокрицкий, и сразу оказалось достаточно, по его мнению, для защиты Камчатского люнета и обоих редутов пяти-шести рот далеко не полного при этом состава, и Сакен немедленно же с ним согласился и подписал эту его диспозицию.

Между тем резервы «Трех отроков» расположены были очень далеко, и гораздо скорее на помощь к своим передовым частям, брошенным на штурм, могли прибыть резервы французов; наконец, прикрывать редуты назначен был Жабокрицким необстрелянный и совершенно незнакомый с местностью, незадолго перед тем появившийся в Севастополе, Муромский полк.

И эта странная беспечность проявилась как раз в то время, когда весь сорокатысячный корпус Боске, в распоряжение которого дана была еще и турецкая дивизия, усиленно готовился к жесточайшему обстрелу и потом к штурму передовых русских укреплений, чтобы, захватив их, обрушиться всей своей массой на Малахов курган, занять его и тем закончить осаду Севастополя, затянувшуюся свыше всякой меры.

III

«Пушка его величества» заговорила ровно в три часа дня 25 мая (6 июня): около пятисот пятидесяти осадных орудий по сигнальной ракете, пущенной с одного из союзных судов, одновременно заревели с разных сторон, и началась третья по счету генеральная бомбардировка Севастополя, далеко превзошедшая по силе две предыдущих.

В противоположность тем эта бомбардировка началась в совершенно безоблачный, ясный и жаркий день; однако небо очень скоро заволкло пороховым дымом, сквозь который солнце едва желтело и казалось каким-то пристыженно жалким, оставленным на задний план, затрапезным: кругом бушевала стихия другого огня — земного,

человеческого, без всяких недомолвок, загадок и тайн; ураган чугуна, ни на минуту не утихая, неся свирепо на севастопольские укрепления, в город и бухты, — ураган чугуна неся отсюда туда, на батареи противника: защитники Севастополя отвечали врагам огнем пятисот семидесяти орудий большого калибра.

Грохотало, рвалось, крушило здания... Белые фонтаны, высотой с корабельные мачты, вздымались здесь и там на бухте от падавших в воду ядер... И до шести вечера, то есть три часа подряд, Севастополь в азарте борьбы почти не отставал от противника в силе огня, встречая выстрелом выстрел, пока не ужаснулся, наконец, своему безумию; погреба быстро пустели, и неоткуда было бы взять снарядов, если бы противник затянул бомбардировку, как это случилось на пасху.

Сколько бы безответных украинских волов ни было занято подвозом снарядов для крупнокалиберных мортир и пушек, все-таки один луганский завод не мог соперничать с несколькими большими военными заводами передовых европейских стран: Россия жестоко платилась в Севастополе за свою отсталость.

Но артиллеристы-морьяки еще со времени октябрьской бомбардировки заметили, что французские бомбы изготовлялись гораздо хуже английских, и много их совсем не рвалось. Эти неразорвавшиеся бомбы являлись как бы подарком: они тут же собирались матросами, которые потом перезаряжали их, выбивая трубки, и пригоняли к своим мортирам; конечно, делалось это в укрытых местах и во время затишья на фронте; теперь же нельзя было уступать врагу в частоте стрельбы, а по редутам и бастионам передавался уже строжайший приказ беречь снаряды.

Впрочем, приказ этот если хоть сколько-нибудь был понятен и уместен, то только на правой стороне укреплений, на Городской, где огонь противника был вдвое слабее, чем на левой, на Корабельной: там только поддерживали главный удар, который наносился здесь.

Пятьдесят французских орудий громили один только Камчатский люнет, и уже к шести часам вечера ядра их до того разбили все насыпи, сделанные из рыхлой, несслежавшейся земли, что пролетали сквозь них, как через воду, а двадцать пять других орудий срывали

почти до оснований мерлоны{97} и засыпали амбразуры на Волынском и Селенгинском редутах, так что невозможно было даже из неподбитых пушек отвечать противнику хотя бы и редким огнем... К наступлению сумерек и люнет и редуты умолкли.

Казалось бы, все было подготовлено интервентами к штурму «Трех отроков». На месте укреплений оставались только развалины: задравшиеся кверху и торчавшие вкось и вкривь доски орудийных платформ, бесформенные кучи земли и глубокие ямы, заваленные разбитыми фашинами и турами рвы, обвалившиеся блиндажи, и среди всего этого хаоса остатки гарнизона ждали штыковой схватки.

Но французы и в темноте продолжали стрельбу из мортир навесным огнем: их цели шли дальше; состояние передовых укреплений им было видно, но внимание их было занято Малаховым курганом, как все усилия англичан были направлены на третий бастион — Большой редан. Пятьдесят тысяч снарядов было заготовлено для того, чтобы разгромить не только передовые укрепления с их несколькими десятками пушек на рыхлых насыпях, но, главное, эти две твердыни, чтобы на другой же день, истратив все снаряды за двадцать семь часов и проведя классический штурм, можно было, наконец, послать по кабелю на Варну вожделенную телеграмму: «Севастополь взят».

Как обычно, ночью вели обстрел только мортиры противника, но теперь их оказалось так много и огонь их был такой неслыханной силы, что иногда на пространство всего каких-нибудь двухсот метров падало почти одновременно до пятнадцати пятипудовых бомб, взрывы которых были ужасны. Но, как обычно, защитники редутов даже и в эту ночь действовали лопатами и кирками, стараясь привести развалины в обороноспособное состояние.

Откапывались засыпанные землею орудия, сколачивались из разбитых досок платформы, мешками с землей и турами выводились щеки амбразур, подвозились из резерва полевые пушки, чтобы штурмующие колонны встретить картечью, наконец подтягивались и сами резервы, так как штурм казался всем неминуемым к рассвету.

Наступил рассвет, но вместо штурма возобновили огонь орудия, отдыхавшие ночью; кроме того, к французским мортирам

присоединились английские, действовавшие до этого против Малахова кургана: теперь их жерла повернулись в сторону «Трех отроков», главным образом Камчатки; впервые в истории осады крепостей так сосредоточивался огонь и достигал такого чрезмерного напряжения, точно ядрами и осколками разрывных снарядов интервенты хотели вымостить дорогу своей пехоте туда, к берегу бухты, к концу войны, к орденам, к шумихе газет, к вековым монументам на бульварах Парижа, Лондона, к величественно-крутому подъему ценности банковских акций.

Все, что с огромным трудом и при больших потерях людьми было исправлено и восстановлено на передовых редутах за ночь, в течение первых же часов утром 26 мая было вновь развалено, разрушено, искалечено, взорвано. Раненых было так много, что почти половина гарнизона Корабельной стороны занята была их уборкой и переноской на перевязочный пункт, расположенный в Доковой балке.

На предварительном, собранном Пелисье, военном совете, на который приглашены были из французских генералов: Боске, Ниэль, Бёре, Лебеф, Далем, Фроссар, Мартенпре и Трошю, а из английских: Эри, Гарри Джонс и Дакрес, высказывались разные мнения о часе штурма. Многие склонялись к тому, чтобы идти на штурм, когда совершенно стемнеет, но возобладало в конце концов мнение самого Пелисье: «Засветло подрачься и тотчас потом утвердиться на занятых укреплениях».

Это «засветло» приурочено было к шести часам вечера 26 мая (7 июня), почему и канонаду, рассчитанную на двадцать семь часов, начали в три пополудни 25 мая (6 июня): у Пелисье был явно математический склад ума.

Однако не лишен был математических способностей и начальник всей Корабельной стороны генерал-лейтенант Жабокрицкий. Он отлично знал, что весь вообще гарнизон Севастополя был гораздо слабее численно одного этого корпуса Боске, атакующего Корабельную, причем две трети гарнизона приходилось на Городскую сторону, у него же, у Жабокрицкого, на пространстве в четыре версты было разбросано на третьем бастионе, на Малаховом, на передовых редутах и в резерве — на слободке и в балках — всего только около

двенадцати тысяч человек. Это число солдат и матросов значительно убавила бомбардировка, а у тех, кто во время боя находится в тылу, потери большей частью двоятся в глазах.

Уже к полудню Жабокрицкому стало казаться, что все погибло, так как он получил донесение, что неприятельские войска собираются на своих плацдармах и в траншеях, очевидно готовясь к штурму. Между тем на третьем бастионе уже половина орудий не имела возможности стрелять вследствие обрушенных амбразур; большие опустошения были и на Малаховом.

Начальник Малахова кургана и всего четвертого отделения Юрковский, видя, что ничего не делается, чтобы собрать войска для отражения уже очевидного и в самом скором времени штурма, сам обратился к Жабокрицкому с напоминанием, что надо усилить хотя бы гарнизоны передовых редутов, где была всего горсть бойцов, но Жабокрицкий предпочел другое. Сказавшись больным, но никому не передав команды, он уехал — проще говоря, притом его же словами, «бежал, как сукин-рассукин сын», с Корабельной на Северную, глубоко запрятав в карман брюк грозный свой пистолет.

И в то время, как Боске объезжал свои батальоны, каждому указывая точное место его штурма, — он сосредоточил две дивизии против одного Камчатского люнета и две других против обоих редутов и Забалканской батареи, а дивизию турок поставил в резерв, — в то время как сам Пелисье — это было после четырех часов дня — приехал к войскам, чтобы воодушевить их своим присутствием, хотя усиленная порция рому и без того придала много мужества солдатам, — в это время атакуемая сторона оставалась совсем без командира, никто не знал тут, кого слушать и что надо делать, и на страже Камчатки стояло всего только триста человек Полтавского полка, а на обоих редутах четыреста пятьдесят Муромского.

Когда до Горчакова дошло, что Жабокрицкий «заболел» и оставил свой пост, он перевел Хрулева с Городской стороны на его место, и Хрулев тут же поскакал на Корабельную, а в одно время с ним туда же направился и Нахимов; но появились там они оба всего за несколько минут до начала штурма, и Хрулеву не удалось сделать никаких

распоряжений, кроме как направить два дивизиона легких орудий, попавшихся ему на площади Корабельной слободки, к мостику через Килен-балку, за которой находились Волынский и Селенгинский редуты и Забалканская батарея. Зачем именно туда направил он дивизионы, он не успел объяснить: колонны французов двинулись на штурм Камчатки, и он поскакал туда.

IV

Нахимов был уже там.

Он слез со своего серого маштачка и не спеша обходил укрепление, удивляясь тому, какой слабенький, точно в злую шутку, точно в язвительную насмешку, гарнизон был поставлен тут, на самом ответственном месте.

Но вот взвились там, у противника, одна за другой три ракеты: это Пелисье приказал дать сигнал начала штурма, — потом поднялась усиленная пальба с неприятельских батарей, и, наконец, матрос-сигнальный с разбитого бруствера закричал с искаженным лицом прямо в лицо Нахимову:

— Штурм! Штурм!

Нахимов бросился к нему сам и выдвинулся над бруствером вполовину своего роста: действительно шли французы.

Это была дивизия генерала Каму; она подходила к люнету гимнастическим шагом, разделившись на три колонны; средняя — для штурма в лоб и две других — для охвата люнета слева и справа.

— Тревогу! Тревогу бить!.. Барабанщики! Тревогу! — закричал Нахимов, соскакивая с бруствера.

Загорелый и рябой, с голубой проседью в бакенбардах, низенький барабанщик, выступив из рядов, мгновенно поправил колесо-фуражку, чтобы стояла геройски, перетянул ремень барабана, — и засверкала «тревога», тут же подхваченная и отчетистым барабанным боем и заливыстыми рожками горнистов по всей линии укреплений и в резерве на Корабельной слободке.

Всем стоявшим в резерве известно было, что надобно делать по тревоге; артиллерийские лошади были обамуничены, ожидая по своим конюшням, прислуга тут же под навесами дворов вполне готова

запрягать орудия и двигаться в заранее данном направлении, — тревога никого не застала врасплох. Хотя французские батареи и открыли как раз в это время усиленную пальбу именно по резервам, все-таки легкие полевые орудия на рысях двинулись отсюда к Корниловскому бастиону, между тем как осадные орудия, снятые с кораблей и стоявшие еще на бруствере Камчатки, матросы деятельно заклепывали ершами.

Это был приказ самого Нахимова, видевшего полную невозможность отстоять люнет с тремястами солдат против двадцати батальонов французов: за дивизией Каму видна была в резерве другая дивизия — генерала Брюне, а кроме нее — несколько рот гвардейцев...

Все эти силы развертывались хотя и быстрыми темпами, но совершенно свободно, как на ученье, чувствуя себя в полнейшей безопасности. Русская артиллерия была уже приведена к молчанию, и даже пороховой дым на люнете успел рассеяться, и под косыми желтыми лучами клонившегося к закату солнца развалины укреплений, казалось, только и ждали, чтобы французы пришли и заняли их без всякого боя.

Однако же бой все-таки начался, чуть только передовые части средней колонны французов добежали до бруствера.

Полтавцы успели дать всего лишь один залп из своих ружей, и только один выстрел картечью сделала малокалиберная пушка, оказавшаяся не подбитой; но не того, видимо, ожидали французы. Замечено было, что в их передних рядах иные бежали с завязанными глазами: не всем помогла усиленная порция рому, — картечь пугала.

Ров не задержал штурмующих, — он был уже засыпан фашинами, турами, мешками с землей: в него свалилась большая половина насыпи, разбитой бомбардировкой... И вот на бруствере между жидкими рядами полтавцев, бывших в своих белых рубахах, засинели французские мундиры; скрестились штыки.

Бой, был короткий, — не могли долго сопротивляться триста спартанцев{98} Полтавского полка целой бригаде французов, — но это был очень ожесточенный бой.

Пронизанный несколькими штыками сразу, упал майор Щепетинников, командовавший полтавцами. Тяжело ранены или убиты были все

остальные офицеры в самом начале схватки. Солдаты же хотя и отступали по направлению Малахова кургана, но так медленно, что французы, обгоняя их, толпами бежали впереди их туда же, к Малахову, к своей заветной цели.

Даже и сам Нахимов, стоявший перед ними во всем великолепии адмиральской формы, в белой фуражке, в густых золотых эполетах и с большим белым крестом на шее, не остановил на себе их должного внимания, до того стремителен был их разбег.

За него, правда, схватились было трое егерей, чтобы тащить его в плен, но около него, кроме верхового казака, державшего в поводу серого маштачка, случился Лукьян Подгрушный, жених Даши, с банником в руках. Этот черный банник как-то непостижимо быстро заметался вдруг около Нахимова, и Павел Степанович увидел, что державшие его французы упали, а дюжие матросские руки, схватив его поперек в поясице, подсаживают его в седло.

Оттягивая к себе остатки отступавших полтавцев и матросов, неторопливо двигался Нахимов, теперь уже сидевший верхом на своем сером, несколько в сторону от Малахова. Французы с криками пробегали мимо знаменитого русского адмирала, так как Малахов курган казался им гораздо более заманчивой, а главное вполне уже доступной добычей, адмирал же все равно не мог бы миновать их плена в случае захвата ими ключа севастопольских укреплений.

Стараниями Жабокрицкого курган действительно оставлен был почти без гарнизона. Там стояли только матросы у орудий, а в прикрытии всего один, очень слабый численно, батальон Владимирского полка.

Скакавший было впереди резерва на Камчатку Хрулев увидел, что там уже сплошь синеют мундиры французов, и повернул назад, к Малахову, который был под ударом; и этот быстро проведенный маневр спас Корниловский бастион в самые опасные для него минуты, так как, кроме средней колонны дивизии Каму, сюда же устремились и левая и правая, обогнувшие Камчатку.

Резерв русский, правда, был очень мал сравнительно с двадцатью батальонами французов, но он бежал на помощь гарнизону и поднимал его силы.

Вот когда пригодились многим полупьяным егерям в синих мундирах

повязки на глазах, позволявшие им видеть только то, что было у них под ногами; однако они помогли им только добежать до рва перед валом: самый частый встречный огонь открыли по ним матросы, посылая в их ряды картечь за картечью из всех боеспособных мелких орудий, и этой убийственной картечи не выдержали французы.

Только около сотни их, заскочив в ров, притаились в нем, совершенно не замеченные защитниками бастиона; остальные остановились, теряя много убитых и раненых, наконец отхлынули, заполнив собою волчьи ямы, воронки от снарядов, глубокие рвы каменоломен, и открыли отсюда ружейную пальбу по всему на бастионе, что могло быть обстреляно. Этот град пуль, сыпавшийся на защитников Малахова, стоил любой картечи, однако большая удача севастопольцев была в том, что первый и самый стремительный натиск превосходных сил противника на их твердыню был отбит и что при этом уцелел Нахимов. Между Малаховым и вторым бастионом остановил Нахимов отступавших с Камчатки: беглым шагом подходил сюда из резерва свежий батальон владимирцев, и за ними виден был белый конь Хрулева впереди целой колонны, спешившей подпереть Малахов. Это были два батальона Забалканского полка и батальон суздальцев.

Рыжая пыль, поднятая солдатскими сапогами, полускрывала задние роты, Малахов же был весь в дыму и от пальбы из своих орудий и от разрывов французских бомб на нем, а перепутье между Малаховым и Камчаткой затянато было кисеей ружейного дыма: засевшие в ямах и каменоломнях зуавы неумолимо стреляли по амбразурам Малахова, дожидаясь своих батальонов, которые должны были двинуться с Зеленого Холма сюда на штурм.

Но они не двинулись, потому что Хрулев, дав своим забалканцам и суздальцам не больше как десятиминутный отдых, повел их вперед отбивать Камчатку.

Другой батальон суздальцев и два батальона полтавцев, подоспевшие к этому времени на Малахов по тревоге, были направлены Хрулевым в широкий промежуток между Камчаткой и Килен-балкой, и все эти шесть батальонов шли, штыки наперевес в сомкнутых колоннах, как обычно ходили русские части в атаку.

Было еще светло. Выполняя приказ генерала Пелисье «засветло

подраться, чтобы ночью утвердиться в занятых укреплениях», зуавы, засевшие в каменоломнях, встретили русских залпами, но были выбиты и бежали.

Ряды французов уплотнялись и густели, чем ближе подходили хрулевские батальоны к люнету; ряды русских редели от штуцерного огня, и штыковой бой на развалинах Камчатки был упорный: алжирские стрелки не хотели сдавать Зеленого Холма, но все-таки были выбиты и отступили. Семь офицеров их и свыше трехсот солдат были взяты здесь в плен забалканцами.

Но пленных надо было отправлять в тыл, также и многочисленных раненых; между тем, хотя наступали уже сумерки, все-таки было еще достаточно светло, чтобы артиллерия французов могла открыть жестокий обстрел люнета из прицельных орудий.

Хрулев поскакал к своей второй колонне. Там тоже был успех, там оттеснили правую колонну дивизии Каму и заняли вновь потерянные было контрапроши.

Но убыль людей была велика, и дивизия Брюне шла на помощь дивизии Каму, тогда как не подходили новые свежие части поддержать ослабевшие русские батальоны. Хрулев послал еще с Малахова на Городскую сторону за подкреплением, но знал, конечно, что если оно и будет послано, то явится поздно, вечером... Он отдал приказ не отступать, держаться, а сам кинулся к редутам, тоже атакованным в это время, но держаться было уж невозможно.

Отступали медленно, однако французские бригады наседали неотвязно, и бывшие на Малаховом Нахимов и Тотлебен уже готовились к отбитию штурма, который казался неизбежным. В их распоряжении было два батальона; они расставили людей по банкетам, артиллерия же по их приказу открыла усиленный обстрел снова занятого густыми массами французов люнета.

Но идти на штурм кургана не решились французские генералы. На полпути между горжей люнета и рвом Малахова они остановили своих солдат. И только теперь, осмотревшись, заметили защитники Малахова у себя под боком, во рву, заскочивших туда и притаившихся там на дне зуавов, оставшихся от первой атаки. Все они, конечно, попали в плен.

V

Волынский и Селенгинский редуты охранялись каждый только двумя ротами Муромского полка, по сто человек в роте, а на них шла целая дивизия генерала Мейрана, имевшая в резерве дивизию Дюлака, — всего восемнадцать тысяч штыков.

Обе бригады Мейрана подошли к редутам как можно ближе по дну Килен-балки и, когда выскочили для штурма, встречены были только несколькими ружейными выстрелами: не было уж на брустверах ни одного орудия, способного стрелять, а укрепления, развороченные только что стихшею бомбардировкой, были завалены убитыми и ранеными.

Муромцы пытались сопротивляться, но были задавлены великим многолюдством врага; им оставалось только, чтобы не сдаваться в плен с оружием в руках, поспешно ломать подборами сапог приклады своих ружей, а матросы спешили заклепать дула орудий, хотя и валявшихся уже на земле, как бревна.

В два часа дня здесь был Нахимов, и хотя пальба со стороны противника была тогда особенно сильной, он все-таки привычно спокойно обошел все укрепление с одного конца до другого и здоровался с матросами, многим из которых даже и тогда приходилось уже оставаться не у дел около своих пушек, приведенных в негодность.

Так кивнул он головой, проходя, старому матросу Бондарчуку, крикнув при этом:

— Что, Бондарчук, жарко?

— Шпарят, Павел Степаныч! — радостно, точно и в самом деле была радость в том, что «шпарят» французы, ответил Бондарчук, и долго еще улыбался он в начинавшие сесть усы, провожая взглядом адмирала.

Через час после того, как уехал с редута Нахимов, Бондарчук был ранен осколком в ногу. Он чувствовал, что кость была перебита, так как подняться с земли он не мог, нога же — правая — вывернулась как-то совсем не так, как полагалось бы, и допекала сильная боль. Ранило его шагах в пяти от порохового погреба, куда он пошел было

за снарядами. Его не отправляли на перевязочный, как и других раненых около него, дожидаясь сумерек, и он понимал, что не с кем было его отправить, что очень мало остается гарнизона на редуте.

Снаряды неприятельские продолжали рваться кругом; совсем рядом упали одно за другим три ядра, и Бондарчук, не только не теряя сознания от боли в ноге, но, напротив, стараясь держаться, хотя и лежа на земле, вполне бравое, все думал о погребе, в который мог попасть большой снаряд, и тогда конец редуту.

Так долежал он до минуты штурма.

Вот вместо пальбы зашумело, затопало, залязгало штык о штык, и зуавы в своих чудных синих коротких куртках, расшитых шнурками, в красных чалмах и фесках и с черными, как смоль, козьими бородками, во множестве запестрели перед глазами.

Притворившись убитым, Бондарчук смотрел сквозь полузакрытые веки. На него наступали пробежавшие мимо зуавы — он терпел, не вскрикивая даже и тогда, когда придавливали переломленную ногу.

Еще раньше, чтобы не было жарко голове, он, подтягиваясь на руках, дополз до самых дверей порохового погреба и спрятал голову в тень от навеса над ними. Теперь, как только большая часть напавших на редут продвинулась дальше, а другие около занялись обшариванием блиндажей, Бондарчук нажал головою на дверь погреба и стал проворно протискиваться внутрь.

Он обдумал, что надобно было сделать. Он принялся выбивать из кремня кресалом искру, чтобы запалить трут и взорвать потом весь погреб, чтобы взлетела на воздух вместе с редутом вся эта орда в чалмах и фесках.

Но зуавы заметили открытую дверь в погреб, которую не мог он закрыть за собою. Они ворвались туда толпой. Они поняли, что он хотел сделать и чем это им грозило. Курившийся трут — оранжевый толстый шнурок, прикрученный к трубке, и кремень, и кресало — все это тут же было вырвано из его рук; потом и самого его выволокли наружу.

Доложили о нем своему офицеру. Офицер-зуав не стал разбирать этого дела: некогда было и незачем, — дело было ясное. Он только сделал кистью руки ныряющий жест и отвернулся. Двое зуавов

бросились на Бондарчука со штыками.

Бондарчук кричал:

— Пожди, проклятые! Вот Нахимов приведет войска!..

И, умирая, он мог слышать отдаленное родное «ура», но это не Нахимов шел с большими войсками отбивать Волынский редут, это на помощь своему первому батальону бежал из ближайшего резерва второй батальон муромцев.

Неравенство сил, однако, было чрезмерно: второй батальон как бы утонул в бригаде зуавов, хотя и рьяно отбивался во все стороны штыками. Выручать его спешили остальные два батальона, стоявшие в дальнем резерве, в Ушаковой балке. Но едва только перебежали они по плавучему мосту через Килен-бухту и кинулись в штыки, как им в тыл зашли посланные раньше по Килен-балке два батальона французов.

Окруженные со всех сторон, муромцы едва пробились назад; они потеряли убитыми, ранеными, пленными больше половины полка.

Волынский редут, как и Селенгинский, остался в руках французов, но победители погнались за муромцами, которые прежней дорогой через мост отступили к первому бастиону. Однако дорого обошлось им это увлечение.

Артиллерийский генерал, тем более хорошо изучивший местность впереди Корабельной, Хрулев не зря поставил два дивизиона легких орудий — четыре пушки и четыре единорога, с двумя рядами зарядных ящиков — на левом берегу Килен-балки против плавучего моста и арки водопровода, которая тоже служила мостом через балку.

На плечах муромцев французы уже показали большими силами перед обоими мостами; от их частых выстрелов падали в воду и в балку с мостов толпившиеся на них русские солдаты; французам оставалось только перебежать по мостам на левый берег, занять и первый и второй бастионы, совсем не имевшие прикрытий, и отсюда выйти в тыл Малахову кургану и захватить его.

Не нужно было ни Пелисье, ни Боске быть большими стратегами, чтобы прийти к такому плану действий, — он сам просился в их руки; лобовая атака Малахова со стороны Камчатки, фланговая с заходом в тыл — со стороны Волынского и Селенгинского редутов и

Забалканской батарее, попутно тоже взятой дивизией Мейрана.

Однако случилось то, чего не предвидели ни Пелисье, ни Боске, ни Мейран: поднялась навстречу стремившимся вперед зуавам оживленная пальба картечью; четыре орудия били по плавучему мосту и выше его по взгорью, четыре — по каменному и по скоплению французов над ним, на берегу Килен-балки.

Эти маленькие, но лихие шестифунтовые пушки и полупудовые единороги полтора часа стояли на страже не только двух бастионов, но и всей Корабельной стороны: они остановили напор французов, понесших много потерь от их огня, точно так же, как Хрулев своей контратакой от Малахова отбил у генерала Каму охоту взять Корниловский бастион штурмом; наконец, они выручили и остатки Муромского полка, к которому на помощь подоспели с Городской стороны два батальона забалканцев и батальон полтавцев под общей командой подполковника князя Урусова, ехавшего впереди них в белом кителе и белой фуражке на огромном, какие были в те времена только у кавалергардов, вороном коне.

Десятки тысяч штуцерных пуль выпущены были французами по батареям, их поражавшим, но и орудия и упряжки были так хорошо укрыты местностью, что ни прислуга, ни лошади не пострадали. Зато новые залпы французов, упорно державшихся на правом берегу Килен-балки, нашли себе много жертв в рядах подходившей к мостам пехоты.

— Ребята, вперед! — подняв саблю, прокричал генерал Тимофеев, начальник пятого участка оборонительной линии, оттиснутый с Забалканской батареи вместе с муромцами, но теперь, с приходом трех свежих батальонов, воспрянувший духом.

Он был так же верхом, как и Урусов. Подавленный тем, что весь его участок — и Камчатка и оба редута — так быстро и так, казалось бы, безнадежно потеряны, может быть по какой-нибудь его оплошности, он — пожилой генерал, — с горячностью прапорщика вырвавшись вперед, вскачь пустил коня на мост, но на середине моста свалился с седла набок и повис, смертельно раненный в голову.

Но за ним бросились яростно полтавцы, а на другой мост направились забалканцы, и, на том берегу Килен-балки, на взгорье, завязался

упорный штыковой бой.

Французов было больше, их окрылял задор победителей, позиция их для штыковой схватки была очень выгодна — и все-таки они побежали.

Забалканская батарея была отбита, и даже наступившая в это время темнота, сулившая удачу французам, не подвинула их на штурм этого лысого холмика, сплошь заваленного трупами.

VI

Боевой третий бастион, откуда так часто делались вылазки в английские траншеи, сильно пострадал от жестокой бомбардировки этого памятного дня, его огонь был потушен почти наполовину: амбразуры завалены, лафеты подбиты, платформы встали дыбом...

И, однако, впереди бастиона, в ложементах, весь этот день пролежала рота Камчатского полка, подкрепленная двумя десятками штуцерных, ведя перестрелку с английскими фузелерами.

Конечно, нельзя было и думать, чтобы такая огромная трата тяжелых снарядов с английских батарей — до пятнадцати тысяч за двадцать семь часов — была предпринята только для поддержки штурма со стороны французов на пятый участок. И, однако, в прикрытии обширного третьего бастиона были только три слабого состава роты того же Камчатского полка с батальонным командиром майором Хоменко.

Иеромонах Иоанникий провел весь этот ошеломляющий день на бастионе, где начальником артиллерии был капитан 1-го ранга Лев Иванович Будищев, который очень нравился ему тем, что был образцовый собутыльник, остряк и знаток духовного пения. Впрочем, в светском пении он был еще больше силен, этот приземистый, несколько косолапый, кудлатый, рыжий, с маленькими глазками человек, похожий на сатира{99}.

У Будищева в блиндаже часто собирались гости, играли с хозяином в шахматы, причем победить его никто не мог, пили, а чтобы доставить гостям развлечение в тихие часы, он приказывал открывать пальбу из единственной дальнобойной пушки, уверяя всех, что она хватает в самый город Камыш. Английские батареи открывали ответную пальбу,

и случилось, что не одно ядро попадало в крышу блиндажа хозяина или бомба разрывалась около дверей. Это смущало гостей, но зато веселило самого Будищева, который не раз командовал крупными вылазками, однажды был ранен, потом контужен, но поправлялся быстро и появлялся на третьем бастионе снова такой же, как всегда, — с узенькими глазками веселого сатира, с косолапой несколько походкой, распорядительный и спокойный и всегда не прочь подшутить над своими гостями.

На банкете за мерлоном, то есть в промежутке между двумя орудиями на бруствере, стояли втроем: Будищев, Иоанникий и майор Хоменко — раздавшийся вширь и сутуловатый, однако высокий человек, сырой, с черными густыми бровями и мясистым носом, разделенным складкой между ноздрей на две неравные половины.

Их соединила тревога, только что пробитая барабанщиками на всей линии укреплений Корабельной стороны и на третьем бастионе с его редутами.

— Штурм? Что? Где? — кричал Будищев вверх сигнальщику.

Сигнальщик замешкался с ответом, отыскивая в подзорную трубу, где штурмуют, и Будищев сам полез к нему по мешкам на бруствер.

— Камчатка! — сказал ему сигнальный матрос, передавая трубу.

— Камчатка! — подтвердил Будищев, увидев и сам множество французов на руинах вала люнета и поэтому сразу почуяв недоброе.

Однако тех же французских солдат на Зеленом Холме — Кривой Пятке — увидел и английский полковник Ширлей, который во главе четырехсот отборных людей из двух армейских дивизий и гвардейских стрелков стоял наготове для атаки ложементов пред третьим бастионом.

В резерве у него было шестьсот, кроме того, около тысячи рабочих, которые должны были перевернуть в сторону Большого редана ложементы, когда они будут взяты.

Появление на Камчатке французов было условным знаком для Ширлея начать штурм, и когда Будищев увидел красные мундиры впереди бастиона, он проворно спустился и закричал Хоменко:

— Идут, идут! Энглезы!.. Стройте роты!

Он не потерял присущего ему спокойствия и теперь, — он сделался

только гораздо деловитее, чем обычно. Перед ним была явная, видимая цель, в которую, к сожалению, нельзя было брызнуть частой картечью: в ложементы началась свалка.

Свалка эта, впрочем, продолжительной быть не могла. Один против четверых, смертельно утомленные за день в дыму и под визгом и шипом снарядов над головой, частью раненные или контуженные мелкими камнями из хрящеватых насыпей ложементов, — долго ли могли сопротивляться камчатцы свежим отборным английским солдатам?

Вот они уже бежали к валу бастиона — жалкие остатки роты, не больше взвода на глаз... Картечь остановила зарвавшихся англичан и выбила их из ям перед бастионом, где им хотелось удержаться. Но ложементы были все-таки заняты! Отбивать ложементы повел три роты камчатцев сам Будищев.

— А я вам говорю, батюшка, останьтесь! — в последний раз останавливая шагнувшего с ним рядом Иоанникия, кричал Хоменко.

— Я чтобы остался? — перекрикивал его Иоанникий. — Ни в коем случае!

— За мно-ой, ура-а-а! — закричал он потрясающе и забежал вперед Будищева, спотыкавшегося, задевая косолапыми ногами то за трупы, то за ядра, то за камни.

Но не сделал и пяти шагов, как упал с размаху наземь: пуля прохватила его голень.

— Э-эх! Ведь говорил я вам! — успел на ходу бросить ему Хоменко, но тут же упал и сам, убитый наповал: английские фузелеры встречали двигавшихся выбивать их русских метким огнем, да и расстояние было небольшое, а Хоменко был очень заметен.

Однако «ура» подхватили уже солдаты и ринулись вперед, опережая Будищева.

Не один уже раз ходившие в штыки, они и на бегу старались держать плотный фронт, привычно обегая падавших из их рядов и смыкаясь снова локоть к локтю. Английские стрелки не устояли под их натиском и повернули к своим траншеям, и хотя очень поредели за эти несколько минут ряды камчатцев, но ложементы были очищены. С короткой полусаблей в руке, с потным крутым лбом, выпирающим из-

под сдвинутой по-нахимовски на затылок белой фуражки, Будищев делал широкие жесты и кричал, рассовывая солдат за прикрытия, а в это время помощник Ширлея, инженер-полковник Тильден, повел в атаку на русских шестисотенный резерв.

Этого совсем не ожидал Будищев: по довольно скромному началу дела он и не мог думать, что замыслы Раглана шли гораздо дальше контрапрошей, что весь третий бастион представлялся уже в середине этого дня английской главной квартире легкой добычей после всесокрушающей канонады и при совершенно ничтожном гарнизоне: это последнее известно было там от дезертиров-поляков.

Английский резерв увлек за собою и отступавших; силы оказались больше чем тройные против камчатцев, отбивавшихся штыками, но пятывшихся назад.

Вместе со всеми пятился и Будищев, размахивая своей полусаблей и стараясь в то же время не наткнуться на козырек ложемента и не упасть; но на него кинулся какой-то краснорожий, красномундирный гигант и выбил из его рук полусаблю прикладом. Он же и потащил его в сторону, в плен, схватив, как клещами, за шиворот...

— Ваше благородие! Примите начальство над командой нашей! — обратился в это время на бастионе к подпоручику-саперу Бородатову матрос Кошка.

— Какая команда? Где?

Бородатов оглянулся, — действительно стояла команда человек в шестьдесят на глаз; в ней были и матросы, и хрулевские пластуны, и саперы...

— Не могу без приказа начальства, — сказал было Бородатов, но Кошка почти выкрикнул, глядя на него сурово:

— Неустойка у пехотных наших, гонють — глядите!

Бородатов прильнул к амбразуре, повернулся тут же, махнул рукой вверх команде, собравшейся самочинно, и пошел торжественным шагом, — худой еще после госпиталя и бледный, но с загоревшимися внезапно глазами, — к калитке бастиона, команда за ним, — небольшая, но добровольная, но идущая выручать своих.

И, кинувшись в свалку, эта команда сделала много. Она ударила стремительно; она показалась отступавшим камчатцам огромной

подмогой, чуть что не целым полком; камчатцы уперлись на месте, а через момент уже рванулись вперед, подхватывая «ура», и англичане начали так поспешно отступать, что Бородатов вместе с десятком бывших около него саперов и пластунов догнал гиганта, тащившего Будищева, и тот, бросив свою добычу, метнулся в сторону, готовя на бегу для стрельбы штуцер... Прошел момент замешательства у англичан; они начали снова нажимать на камчатцев здесь и там...

— Отступать, отступать, братцы! — кричал Будищев, оглядываясь на бастион и не видя оттуда никакой больше поддержки.

Он был без фуражки, — рыжий, кудлатый, кочелобый, — но, только что вырванный из плена, снова чувствовал себя командиром отряда.

Отряд отступал, отстреливаясь и отбиваясь штыками, не зная того, что на бастион прибыл из города однобатальонный Волынский полк, — всего около пятисот штыков.

Правда, было уже не рано, — смеркалось.

Удар волынцев не только спас остатки отряда Будищева, он заставил англичан вторично очистить русские ложементы, и полковнику Ширлею пришлось ввести в дело всех своих рабочих — до тысячи человек, — чтобы заставить, наконец, этот лихой народ, потерявший при атаке почти всех своих офицеров, попятиться к бастиону.

Темнота прекратила бой. Ложементы перешли в руки англичан, но Большой редан, близкое обладание которым сладко грезилось Раглану, остался по-прежнему недоступным и мощным: в эту ночь все подбитые орудия на нем были заменены новыми, так же как и на Малаховом кургане.

VII

Все-таки ночь эта здесь, около «Трех отроков», была ночью большой путаницы и неясностей, но зато быстро была она приведена в ясность там, в штабе Горчакова: как известно, и высокие здания и крупные события кажутся всегда видней и отчетливей именно издали.

Здесь, на Малаховом, где съехались в наступившей темноте Тотлебен, Нахимов и Хрулев, царила час или два уверенность, что редуты Селенгинский и Волынский отбиты у французов обратно. Об этом, даже по форме приложив руку к папахе, доложил Нахимову, как

помощнику начальника гарнизона, Хрулев, когда только что вернулся с Забалканской батареи.

Так как вместе с темнотою упала на все обширное поле жестокого боя и тишина, и не только обычной орудийной, даже и ружейной перестрелки не было слышно, то первым усомнился в том, что доложил Хрулев Нахимову, хлопотавший около рабочих на Корниловском бастионе Тотлебен.

— Прошу очень меня извинить, Стефан Александрович, — обратился он к Хрулеву, — но если мы выбили французов из обоих редутов, то почему же там может быть тихо, а? Ведь они должны, стало быть, опять атаковать редут, — почему же не атакуют?

— Потому что наклали им, чешут бока, — вот почему! — энергично отвечал Хрулев. — А наша обязанность теперь отбить еще и Камчатку... Отдали, а-а! — почти простонал он возмущенно и скорбно, сделав при этом выпад в темноту кулаками. — Ну что же, когда совсем не на кого было оставить Камчатку, когда я уезжал на Селенгинский! Не на кого, — буквально, буквально так, Эдуард Иваныч, как я вам говорю это!.. Ни одного не только штаб-офицера, даже и прапорщика в целом и живом виде!! Ищу, кричу и не вижу!.. Кинулись ординарцы искать кого-нибудь, — повезло было им: раненый подполковник Венцель передо мною! Я к нему обрадованный: «Примите немедленно команду над гарнизоном укрепления!» Он: «Слушаю...» А тут вдруг рвется проклятая граната около, — и Венцель мой уже лежит на земле, изо рта кровь... Не знаю, что с ним потом, — время не ждало, надо было ехать, — пришлось своих ординарцев — мичмана Зарубина, прапорщика Сикорского, оставить за командиров... Но какие же это командиры, посудите? Когда им приходилось быть командирами?.. Вот и... Ну, что поделаешь! Хорошо, что хоть редуты стали опять наши, а Камчатку отобьем, — дай только подойдет еще народу из города!

— Теперь, поди-ка, они уж там укрепляются, — сказал неопределенно Нахимов. — Так что пока мы соберемся...

— Много сделать все равно не успеют, Павел Степаныч! Лишь бы только до утра не оставлять в их руках, — горячо отозвался на это Хрулев, а Тотлебен покачал головой;

— Большие потери будут... И даже едва ли получим мы разрешение на

это от князя.

— Зачем же нам просить разрешение, когда бой еще не кончился? — так и вскинулся Хрулев.

— Кончился, мне так кажется, Стефан Александрович, иначе почему же так тихо? Вы кого оставили на редутах?

— Подполковника Урусова я оставил командиром и Забалканской батареи и обоих редутов. Он же мне и доложил, что редуты отбиты.

— Он доложил, вот видите! А вы лично, значит так, не были на редутах?

— Не мог попасть. Видел только, что там уже были французы.

— Это и мы видели отсюда, — сказал Нахимов.

— Да, но, позвольте доложить, когда я прискакал ко второму бастиону, показались эриванцы, два батальона, — вел подполковник Краевский. Его я направил через мост поддержать на Забалканской батарее князя Урусова. Тут у него жаркое дело было с французами, — это я видел, — однако эриванцы французов погнало и к Забалканской вышли, это я видел своими глазами... А потом туда же пошел и Кременчугский полк, четыре батальона...

— А-а, да, с такой поддержкой, пожалуй, могли быть взяты редуты, — согласился было Тотлебен, но Хрулев отозвался досадливо:

— Я получил ясное донесение об этом! Как же так не взяты?

— Во всяком случае, э-э, по Камчатке надо открыть огонь, чтобы там не работали, — сказал на это Нахимов; Тотлебен же добавил:

— Вопрос с редутами для меня все-таки, прошу прощения, Стефан Александрович, не совсем ясен. Между тем это есть очень важный вопрос. Может статься, что придется открыть огонь и по редутам тоже.

— Вот видите, вы, значит, мне не верите, что ли? — возмущенно вскрикнул Хрулев.

Тотлебен взял его примирительно под локоть:

— Стефан Александрович, вам я верю! Вам я не смею не верить, — боже меня сохрани! Но донесение, донесение, какое вы получили касательно редутов, — это нуждается в проверке.

— Хорошо, можно послать туда офицера, — сказал Хрулев.

— Э, так уж и быть, я лучше сделаю, если сам поеду, — возразил Тотлебен. — Ведь если обнаружится, что редуты уже не наши, —

допустим это на минуту только, — то зачем же тогда идти отбивать люнет? Разве можно будет в нем удержаться, когда будут фланкировать нас с редутов.

— Редуты взяты нами! — ударил себя в грудь Хрулев.

— Тем для нас лучше... Мне надобно их проведать, — наладить там работу, — мягко, но упрямо сказал Тотлебен и, взяв с собой ординарца — казака-урядника, направился к редутам, но не полем недавнего сражения, а вдоль линии укреплений.

Добравшись до первого бастиона, который не слишком пострадал от канонады, но требовал, как и соседний второй, больших работ, чтобы его усилить, если только пали редуты, Тотлебен повернул к мосту через Килен-балку. Навстречу ему непрерывно двигались солдаты с носилками, — несли раненых.

Носилок, однако, не хватало, — тащили раненых и на ружьях, покрытых шинелями, переругиваясь на ходу хриплыми голосами, так как поминутно спотыкались в темноте на тела убитых. Около моста было особенно много этих тел, — они лежали грудями по обе стороны моста, оттащенные сюда с дороги.

— Эй, братцы! Вы какого полка? — остановил Тотлебен лошадь перед идущими с носилками, на которых слабо стонал раненый.

— Эриванского, ваше всок... — устало ответил один из передней пары.

— Откуда идете?

— А оттеда, с редута, ваше...

— С редута? С какого именно?

— Кто же его знает, как его имечко, ваше... — Солдат пригляделся и добавил: — Нам ведь не говорили, ваше пресходитс...

— Значит, Во-лын-ский редут наш теперь и Селенгинский тоже? — отчетливо и раздельно спросил Тотлебен.

— Известно, наши, ваше пресходитс... — уже совсем бравым тоном ответил солдат, но Тотлебен, чтобы окончательно уяснить себе это, счел нужным спросить еще:

— Отбиты, значит, вашим полком у французов?

— Так точно-с, отбиты! — громко уже и даже не без гордости за свой полк ответил эриванец, а трое других молчали.

— Ну, молодцы, когда так! — обрадованно сказал Тотлебен.

— Рады, стратс, ваше пресходитство! — гаркнули теперь все четверо, и Тотлебен послал коня дальше, уже не останавливая других встречных.

Но невдали от холма, на котором расположена была Забалканская батарея и где заметно было многолюдство, какой-то фельдфебель, судя по начальственно-жирному голосу, отдавал приказания кучке солдат, и Тотлебен задержал около него лошадь.

— Какого полка? — спросил он, слегка нагибаясь к фельдфебелю.

Тот, наметанным глазом окинув его, сразу вытянулся, вздернул к козырьку руку и отчеканил:

— Кременчугского егерского, ваше превосходитс...

— Ага! Хорошо, — Кременчугского... А что, редуты Волынский и Селенгинский в наших теперь руках?

— Редуты, так что... не могу знать, ваше превосходитс...

— Не знаешь даже? Как же ты так? — удивился Тотлебен.

— Наш полк до эфтих редутов не дошел, ваше превосходитс...

— Вот тебе раз! А почему же именно он не дошел?

— По причине сильного огня противника, ваше превосходитс...

— Допустим... Допустим, ваш полк не дошел, — но тогда, значит, другой полк дошел, а?

— Не могу знать за другой полк, а только наш Кременчугский пришел с города последний, а других еще после нас не видать было, ваше превосходитс...

Тотлебен вздернул непонимающе плечи и заторопился на батарею, чтобы там расспросить того, кто должен знать это лучше, чем фельдфебель и рядовые.

Непроходимый беспорядок нашел он на батарее. Он спросил одного из попавшихся ему офицеров о редутах, тот довольно уверенно ответил, что удалось отбить только эту батарею, редуты же остались за французами.

— А кто здесь командир? — спросил возмущенно Тотлебен.

— Подполковник князь Урусов.

— Где он сейчас?

— Не могу знать, ваше превосходительство.

С трудом удалось найти Урусова.

— Скажите хоть вы, наконец, князь, наши или не наши редуты?

— Какое же может быть сомнение в этом, ваше превосходительство? — как будто даже удивился Урусов такому вопросу. — Разумеется, наши.

— Ну вот, насилу-то я узнал, что надо! — обрадовался Тотлебен. — Но это есть безобразие, должен признаться, что никто у вас тут ничего толком не знает!.. Кто же командиром там, на обоих редутах? Или на каждом из них особый?

— Командиром всего этого закиленбалочного участка назначен генералом Хрулевым я, ваше превосходительство, но командующий Эриванским полком подполковник Краевский подчиняться моим распоряжениям не желает, а командир Кременчугского, полковник Свищевский, старше меня чином и тоже не желает меня знать! — желчно ответил Урусов.

— Хорошо, отлично, но где же они, эти штаб-офицеры — Краевский и Свищевский? — полюбопытствовал Тотлебен.

— Они?.. При своих полках, ваше превосходительство.

— Какой же из двух полков на Волынском, какой на Селенгинском редуте?

— Этого я не могу сказать в точности...

— Вот тебе раз! Но ведь вас же, князь, оставил генерал Хрулев за командира всего этого участка?

— Что же я могу сделать, если они этого словесного распоряжения не слышали и подчиняться мне не желают?

— Однако нижних чинов Кременчугского полка я встретил сейчас здесь, — вспомнил Тотлебен.

— Да, здесь, около батареи, есть, кажется, и кременчугцы и эриванцы, но большая часть этих полков должна быть там, на редутах...

— Боже мой, это есть неразрешимая для меня задача! — развел руками Тотлебен. — Но, может быть, здесь есть кто-нибудь из бывшего гарнизона редут, а? Комендантом Селенгинского, например, был лейтенант Скарятин... Он жив, не знаете?

— Лейтенант Скарятин здесь, ваше превосходительство, — построеному ответил из темноты около сам лейтенант Скарятин и выдвинулся вперед.

— А-а, ну вот, ну вот, голубчик, вы мне скажете, наконец, кто теперь

командиром на вашем редуте и кто на Волынском? — обрадованно обратился к нему Тотлебен, но Скарятин ответил так же, как многие до него:

— Не могу знать, ваше превосходительство.

— В таком случае сейчас же подите и узнайте и доложите мне! — вспылил Тотлебен. — Черт знает, какой тут беспорядок!.. Возьмите команду матросов и идите немедленно. Я буду вас ожидать здесь.

— Есть, ваше превосходительство!

Скарятин исчез в темноте, а Тотлебен пошел осматривать укрепление, и первое, что его поразило, были заклепанные ершами орудия, — одно, другое, третье, все подряд.

— Безобразие! Что же это такое? Это есть полнейший абсурд! — кричал Тотлебен Урусову. — Раз только батарея была занята вами, это был ваш первейший долг приказать расклепать орудия! Или же... или вы намерены были сдать батарею совсем без всякого боя, в случае ежели противник пошел бы на вас в атаку, а?

— Это мой недосмотр, ваше превосходительство, — сконфуженно отвечал Урусов.

— Недосмотр, вы говорите? Это... преступление, а совсем не какой-то там недосмотр!

Не меньше получаса провел на батарее Тотлебен, лично во все вникая и приводя ее в боеспособный вид. Наконец, вернулся Скарятин.

— Из разведки прибыл, ваше превосходительство, — доложил он Тотлебену.

— Ну что? Как? Говорите!

— Приблизившись к редутам, насколько было возможно, я очень ясно слышал там французский разговор в нескольких местах, ваше превосходительство...

— Это... это что же значит? — недоумевал еще Тотлебен.

— Для меня стало ясно, что оба редута заняты французами, ваше превосходительство, — очень отчетливо ответил Скарятин.

VIII

Главнокомандующий русскими силами князь Горчаков был небезучастен к штурму «Трех отроков»: он наблюдал его с Северной

стороны, пока можно было что-нибудь оттуда видеть. Правда, сам он не видел ничего дальше, чем в десяти шагах, но из чинов его штаба были все-таки зрячие люди, как генералы Коцебу, Сержпутовский, Бутурлин, Ушаков, Липранди, и в руках у них были зрительные трубы. То и дело обращался он то к одному из них, то к другому, и ему сказали, наконец, что идут колонны французов, что начался штурм редутов...

— И что же? Что же? Как наши?

— Неизвестно, ваше сиятельство, — отвечали ему политично генералы. — Виден только пороховой дым, и пока ничего больше... Придется подождать эстафеты с телеграфа.

Телеграфная вышка была тут же, на берегу, и поражен был Горчаков известием, полученным оттуда: «Редуты Волынский и Селенгинский взяты неприятелем».

— Так быстро? Взяты?.. Но ведь это значит совсем без сопротивления? Как же так, а? — бормотал, почти лепетал по-детски Горчаков, поводя очками то в сторону одного, то в сторону другого из своих генералов. Он искал у них поддержки, сочувствия своему недоверию к эстафете, и в том прошло несколько минут, что каждый из генералов должен был сказать ему что-нибудь успокоительное, тем более что чувствовал он себя плохо весь этот день, — осунулся, был бледен, сгорбился, втянул и без того тощую впалую грудь и все жевал по-стариковски губами.

Но вот принесли вторую бумажку с телеграфа. Все кинулись к ней, и Коцебу, как начальник штаба, прочитал громко:

— «Камчатский люнет взят».

— Что же это такое? — почти прошептал Горчаков. — Конец это или... еще не конец?

Теперь уже никто из генералов не пытался его утешить, все были поражены быстротой действий французов и их успехом и смотрели на вышку телеграфа, ожидая еще чего-то, гораздо горшего.

Но следующее известие о ходе боя пришло уже обычным путем: его привез один из адъютантов Сакена, переправившийся через Большой рейд. Сакен доносил, что он ожидает общего штурма Севастополя и, хотя у него требуют помощи с Корабельной стороны, больше одного

полка туда с Городской стороны отправить не может и просит личных указаний главнокомандующего и войск для отражения штурма города. Донесение Сакена никаких кривотолков уже не допускало: минута была решительная.

— Только у Петра, у Петра Великого на Пруте было такое положение, как у меня сейчас! — бормотал Горчаков. — Ни одна армия в мире не находилась никогда в таком скверном положении!.. А все Меншиков, все он, все он! Это его отвратительнейшее наследство!.. Почему же он во дворце теперь, а не здесь, не здесь, не здесь?..

Он весь дрожал нервической дрожью. Коцебу вызвался сам поехать в город на помощь Сакену, а Липранди предложил послать один полк из своего шестого корпуса взамен того, который Сакен отправил на Корабельную.

Несколько раз совершенно безнадежно махнув рукой, Горчаков пошел к своей лошади, еле переставляя ноги. Ночью же — во второй половине — от него пришел приказ генералу Хрулеву, чтобы не только оставить «безумную затею» отбивать редуты у французов, но и Забалканскую батарею очистить, перевезя орудия оттуда на первый и второй бастионы.

Так контрапрошная система обороны Севастополя, с которой радостный ехал он из Кишинева, заранее торжествуя при мысли, как удобно и просто удастся ему отжать к морю союзников, погибла в нем даже несколько раньше, чем погибла она впереди бастионов. На смену не то чтобы возникла, но быстро выросла новая, противоположная: не расширяться, а сжиматься, чтобы как можно скорее выжать из Севастополя весь гарнизон.

Это было не теперешнее его решение, — к такому решению пришел он гораздо раньше, но зато оно стало в нем бесповоротным. Он, путаник и дергач, мог на время забыть решимость свою проводить неуклонно это решение; он мог подчиниться не только приказу свыше, а и доводам близких лиц из своего же штаба, но решения увести из Севастополя гарнизон он уже не менял больше за все остальное время осады.

Настало утро 27 мая — 8 июня. Горчаков, не спавший эту ночь, но несколько успокоенный тем, что союзники, видимо, ограничились

только захватом трех редутов, дрожащей рукою писал царю:

«Прибыв сюда тому восемь недель назад, я застал неприятеля превосходного числом, в неприступной, с тылу укрепленной позиции, охватывающей город своими апрошами и редутами по всему объему его и находящегося уже в 60 сажнях от четвертого бастиона.

Теперь, после восьми недель утомительнейшей осады, после выдержания неслыханного бомбардирования, причинившего нам огромную потерю в людях, и особенно в штаб — и обер-офицерах, я вижу неприятеля снова усилившегося и беспрестанно продолжающего получать новые подкрепления. Он угрожает прервать сообщение по бухте, а пороху у меня на 10 дней. Я в невозможности более защищать этот несчастный город!

Государь! Будьте милостивы и справедливы! Отъезжая сюда, я знал, что обречен на гибель, и не скрыл это пред лицом Вашим. В надежде на какой-либо неожиданный оборот я должен был упорствовать до крайности, но теперь она настала. Мне нечего мыслить о другом, как о том: как вывести остатки храбрых севастопольских защитников, не подвергнув более половины их гибели. Но и в этом мало надежды; одно, в чем не теряю я надежды, — это то, что, может быть, отстою полуостров. Бог и Ваше Величество свидетели, что во всем этом не моя вина».

Это было уже не письмо, а вопль главнокомандующего, побежденного так же, как и его предшественник, гораздо раньше, чем была побеждена армия, вверенная его руководству. В охватившем его отчаянье он забыл даже, когда именно прибыл в Севастополь: с 8 марта по 27 мая прошло не восемь, а почти двенадцать недель. Но положение его действительно было трудное.

Ожидая штурма с Городской стороны, он отправлял туда с Северной и Инкермана полк за полком, так что интервенты могли бы в этот день очень легко захватить всю Северную сторону, если бы высадились на Каче, сделав одновременный нажим со стороны Черной речки на Мекензиевы горы и Инкерман.

Но интервентам было совсем не до таких сложных операций: кое-что заставило задуматься и Раглана и даже пылкого Пелисье, Горчаков не знал точно, во что обошлось им занятие разгромленных

бомбардировкой, небывалой в истории войн, трех редутов и ложементов перед третьим бастионом, но союзники успели уже подсчитать свои потери и донести о них в приблизительных цифрах в Париж и Лондон. По этим донесениям, англичане потеряли семьсот человек, французы — свыше пяти с половиной тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Русские потери, как выяснилось потом, оказались гораздо меньше.

День 27 мая прошел в обычной орудийной перестрелке, а 28 мая французы первые выставили белый флаг и послали парламентаря, предлагая перемирие для уборки трупов, и перемирие было дано.

От других подобных оно отличалось тем, что с французской стороны появилась целая кавалькада амазонок, а французские офицеры были чересчур любезны с русскими и вызывающе парадно одеты.

Резало глаза еще и то, что попадались среди них и какие-то штатские люди в соломенных шляпах и белых костюмах, с тросточками в руках. Едва ли, впрочем, было для них приятным зрелищем то огромное количество убитых зуавов, алжирских стрелков, егерей, солдат иностранного легиона, которое возникло перед их глазами на этом небольшом клочке русской земли.

Но вот кончилось перемирие, перестали белеть и плескаться мирные флаги, отзвучали сигнальные рожки, убрался весь празднично настроенный народ, и будни войны начались новой перестрелкой.

Глава седьмая. Пирогов уезжает

I

Сто восемьдесят шесть раненых перевязала в ночь с 26 на 27 мая в своем блиндаже на Корниловском бастионе боевая сестра милосердия Прасковья Ивановна Графова.

Даже помогавшие ей при этом двое матросов — и те к утру чуть не валились с ног от усталости; правда, оба они были тоже ранены в самом начале боя, хотя и легко, и перевязка им была сделана еще засветло тою же Прасковьей Ивановной; сама же она ворочала своими толстыми, привычными к делу ручищами неутомимо, накладывая на

раны корпии и бинтуя.

Ящички с корпией и бинтами, два ведра воды; оплывшая свеча в хомутике штыка, воткнутого в пол блиндажа, и другая такая же в горлышке квасной бутылки; наконец, красная от крови, липкая табуретка, на которой сидели раненые во время перевязки, если могли сидеть, — это и был весь инвентарь маленького перевязочного пункта, самого близкого к амбразурам, мерлонам, пороховым погребам и пороховому дыму.

— Ну, дорогой, будь весел! — не забывала сказать Прасковья Ивановна каждому, кого отправляла из своего блиндажа после перевязки снова ли в строй, или к профессору Гюббенету на Корабельную, или к Пирогову — в город.

Это «будь весел» казалось с первого раза странностью здоровенной пожилой женщины, простонародного склада мысли и слова, всем от солдата до главнокомандующего говорившей «ты». Но в этих двух коротких словечках таился какой-то отдаленно глубокий, нутряной смысл, точно вся огромная родина защитников Севастополя — Россия — говорила устами сестры с передовой позиции — ключа Севастополя:

— Держи голову гордо! Не теряй бодрости! Любую смертельную опасность встречай шуткой! За тобой — непобедимая Родина!

Тем же, как и у Прасковьи Ивановны, неискоренимо народным складом ума и характера отличался и академик Пирогов, несмотря на то, что учился он медицине в Дерпте и несколько ученых трудов своих написал по-немецки.

Веселость как признак нескудеющей бодрости не покидала его ни при каких обстоятельствах. Если даже он и сердился на кого-либо из своих помощников за его неловкость или на начальство, старавшееся откладывать его требования в долгий ящик, а иногда и просто не выполнять их, то даже и тогда он умел говорить образно, саркастически, пускать в дело насмешку, которая была в цель не хуже меткого выстрела.

И если Прасковья Ивановна обрела себе блиндаж на бастиионе, то и Пирогов в конце концов поселился на городском перевязочном пункте, в доме бывшего Дворянского собрания, и перетащил туда же

приехавших с ним врачей.

Отчасти произошло это потому, что на первой его квартире в городе чувствительно похозяйничала неприятельская бомба, пробив крышу и потолок; на второй, в домике напротив Артиллерийской бухты, другая бомба, к счастью в его отсутствие, отбила как раз тот угол, где стояла его койка... Впрочем, и одну боковую комнату перевязочного пункта в Дворянском собрании тоже сумела разрушить третья назойливая бомба, пущенная ночью с английской канонерки, близко подобравшейся в темноте ко входу на Большой рейд.

И если Прасковья Ивановна способна была сделать за одну ночь больше ста восьмидесяти перевязок раненым, то и Пирогов за несколько месяцев своей работы в Севастополе одних только ампутаций сделал около пяти тысяч... Бывало, что, поднявшись рано утром, когда другие врачи еще спали, он уже орудовал в операционной, пользуясь помощью дежурного фельдшера и сестры. Только около четырехсот ампутаций пришлось на долю остальных хирургов этого перевязочного пункта, хотя их было немало.

Но Пирогов приехал в Севастополь не для одной только этой работы непосредственно у стола в операционной. По Кавказу он знал, как скверно поставлено вообще в России дело помощи раненым. Он ехал как реформатор этого дела.

Помня, как военный министр, светлейший князь Чернышев, принял его, когда он вернулся с Кавказа с докладом о госпитальных ворах, он заручился теперь покровительством влиятельной великой княгини Елены Павловны и помощью не только преданных ему врачей, но и нескольких десятков сестер милосердия. Он ехал сюда во всеоружии своих огромных знаний и опыта кавказской войны для того, чтобы вести не подпольную, а открытую войну с теми, кто наживается на войне, обкрадывая раненых и тем содействуя их гибели, а также и с теми, кто, считая дело содержания и лечения раненых второстепенным делом, имеет власть и все возможности, но уверен, что хаос в этом деле неустраним.

В Крымской армии был главный врач Шрейбер, носивший длинное звание генерал-штаб-доктора; об этом Шрейбере Пирогов говорил, что он, «хотя седой и рябоватый, все видит в розовом свете».

Хотя кое-какие полномочия Пирогов и получил там, в Петербурге, здесь, в Севастополе, его сделали только заведующим городским перевязочным пунктом; Шрейбер же в розовых очках продолжал по-прежнему, по-военному, а не по-штатски обращаться с ранеными и больными солдатами.

Во время десятидневной «пасхальной» бомбардировки Пирогов, со всем своим штатом врачей переселившийся в Дворянское собрание, не раздевался для сна, — некогда было; до пяти тысяч раненых прошло за эти дни через его руки, причем пришлось ему сделать свыше пятисот сложных операций и ампутаций.

Каждый больной, оперированный хирургом, становится ему особенно дорог. С разрешения Нахимова Пирогов устроил этих пятисот в обширных казематах Николаевской батареи, совершенно пока безопасной от неприятельских бомб. Но высшее начальство решило их участь иначе: получился приказ перевести всех их на Северную, где под непосредственным руководством генерал-штаб-доктора было будто бы приготовлено все к их приему, выздоровление же их благодаря свежему воздуху должно было там протекать успешней и быстрее, чем в казематах.

Пирогов поверил в заботливость высшего начальства. Сам он был завален в это время работой на своем перевязочном пункте и не имел времени съездить на Северную посмотреть, что именно было приготовлено там для приема тяжело больных солдат.

И вот с военной быстротою были перевезены все эти пятисот безруких, безногих и прочих, только что с операционного стола — куда же? В простые, к тому же дырявые солдатские палатки, в которых соломенные тюфяки валялись просто на земле. Но зато палатки эти были разбиты по шнуру правильными рядами, и свежего воздуха вокруг них было вполне довольно. Он сделался несколько излишне свеж на другой же день, когда вдруг разразился над Севастополем сильнейший ливень при лютом холодном ветре.

Палатки срывало с кольев; потоки ливня, врываясь к несчастным больным, промочили их до костей; тюфяки их подплыли; от ледящего ветра не было защиты... Стремившиеся оказать какую-нибудь помощь жертвам особой заботливости высшего начальства

сестры милосердия и врачи становились около них на колени в лужи, в грязь, а жертвы эти — посинелые, полуживые — безостановочно стучали зубами, безудержно трясясь...

Уже через несколько часов умерло из них до двадцати человек, а на другой день число смертных случаев среди них удвоилось; и когда приехал к ним извещенный об этом Пирогов, он нашел безнадежными их всех.

Рапорты начальству в те времена полагалось писать казенно-вежливым языком: «Чсть имею довести до сведения вашего высокопревосходительства...», «Чсть имею покорнейше просить ваше сиятельство...». Никаких отступлений от этой предписанной свыше формы не допускалось.

Но разве мог Пирогов вместить в эти холодные казенные фразы рапорта все возмущение, какое его охватило там, на Северной, среди этих рваных солдатских палаток, в которых валялись на мокрых тюфяках в грязи так недавно еще его умелой рукой направленные к жизни и ныне поголовно умирающие и обреченные смерти раненые?

Он отбросил казенный язык. Он заговорил языком человека, оскорбленного в лучших своих чувствах, но, конечно, этот его язык оказался совершенно непереварим для начальства.

Пирогов кричал вне себя в среде врачей:

— Что же это такое? Халатность ли только? Нет-с, — это чудовищное преступление, — вот что это! Зачем же тогда мы, хирурги, и все вообще врачи, если свежеампутированных раненых бросают, как хлам на свалку, на усмотрение всех стихий? Вот стихии и сделали из них горы трупов в кратчайший срок, — значит, для этого в конечном-то счете трудились мы дни и ночи, рискуя собственной жизнью? Ради этого столько врачей и сестер умерло уже здесь от тифа?.. Может быть, скоро мы, врачи, будем получать прямые указания дорезывать тяжело раненных, не кладя даже их на операционные столы, или травить их мышьяком, как крыс?..

Чего мог добиться Пирогов, возмущаясь так во всеуслышанье? Он нажил себе только врагов, непримиримых и сильных. И хотя Горчаков приказал сделать расследование по докладной записке Пирогова но, как обычно, оно не обнаружило виновных, а койки для

ампутированных с двойными матрацами к ним привезены были в палатки только тогда, когда от пятисот с лишком человек осталось в живых всего семнадцать.

Зато о Пирогове стали говорить в штабе Горчакова:

— Ну, этот Пирогов, кажется, добивается того, чтобы получить назначение главнокомандующего Крымской армией!.. Между тем генерал-штаб-доктор вывел заключение, что ампутированные им помирают не потому, что попали под дождь, но оттого единственно, что он небрежно делает операции, хотя и прославленный хирург!

В Симферополе, где скопилось больше десяти тысяч раненых и больных солдат, были спешно поставлены для них дощатые бараки без полов, такие же бараки устроены для врачей и сестер. Однако в холодное время они не отоплялись, и, требуя для них дров, Пирогов написал начальнику госпиталей, генералу Остроградскому: «Имею честь представить на вид...»

Фраза эта была хотя и казенной, но «ставить на вид» имел право только старший в чине младшему, когда распекал его за провинность. Генерал, привыкший видеть полную безропотность военных врачей, и без того косо глядел на Пирогова, теперь же он поднял против него целую бурю, придравшись к его «неприличному» выражению, тем более что это было гораздо дешевле, чем приобрести дрова для барачков.

Он выступил с жалобой на дерзкого и не только перед главнокомандующим, но обратился и к самому царю, так что Пирогову пришлось выслушать выговор не только от Горчакова, но впоследствии и от царя тоже: все пружины были пущены в ход симферопольским администратором, чтобы стало жарко заступнику за больных и раненых солдат, а в бараках мог бы по-прежнему царить холод.

Смертность среди ампутированных и вообще оперированных на перевязочных пунктах и в госпиталях Севастополя действительно была очень велика, и не только из-за безобразной постановки ухода за ранеными и перевозки их в степную часть Крыма в холодное время, как это велось в Севастопольскую войну до Пирогова; самым страшным врагом раненых была госпитальная гангрена, настоящая

причина которой тогда не была еще известна, так как бактериология едва зарождалась, антисептика же была введена только после Крымской кампании английским хирургом Листером.

Борьбу с госпитальной гангреной Пирогов повел со всею присущей ему энергией, лишь только появился в Севастополе. Он отделил всех гангренозных, переведя их из дома Дворянского собрания в дома купцов Гущина и Орловского, где за ними ухаживали две самоотверженные сестры милосердия и наблюдал лекарский помощник Калашников. Перевязочный же пункт он временно перенес в другое место, а роскошное, но зараженное помещение Дворянского собрания проветривалось по его приказу уже несколько недель.

Этими мерами страшная эпидемия была значительно ослаблена, но не уничтожена, конечно. Пирогов понимал, что перегруженность перевязочных пунктов и госпиталей способствовала развитию гангрены; он стремился к тому, чтобы раненые не задерживались здесь, а отправлялись дальше, однако ежедневные бомбардировки, частые вылазки и стычки, особенно с тех пор как были устроены передовые редуты, наконец, целые сражения из-за этих редутов и траншей неизбежно переполняли огромным количеством раненых общие палаты перевязочных пунктов: гангрена не переводилась.

Иногда же, по совершенно необъяснимым для Пирогова причинам, результаты безукоризненно проведенной им или под его личным наблюдением операции были совсем не те, какие им ожидались. Он старался проникнуть в тайну этих капризов человеческой природы, но проникнуть все-таки не мог, и это его угнетало.

Об этом он писал в Дерпт профессору медицины Зейдлицу:

«Кровь, грязь и сукровица, в которых я ежедневно вращаюсь, давно уже перестали действовать на меня; но вот что печалит меня, что я, несмотря на все мои старания и самоотвержение, не вижу утешительных результатов, хотя я моим младшим товарищам по науке, которые еще более меня упали духом, беспрестанно твержу, чтобы они бодрились и надеялись на лучшие времена и результаты. Один из них — дельный, честный и откровенный юноша — уже хотел закрыть свой ампутационный ящик и бросить его в бухту. «Потерпите, любезный друг, — сказал я ему, — будет лучше...» Я, может быть,

если останусь жив да отслужу свои тридцать лет, — не забудьте, что нам считается месяц за год службы, — соберу результаты своих наблюдений об ампутациях и обнародую их. Ампутация, как одна из грубейших больших операций, доказывающая несовершенство искусства, именно ясно доказывает, что потеря каждого члена нашего тела имеет свой постоянный фатальный процент смертности...»

II

Но то, что пока для Пирогова не поддавалось объяснению — плохие последствия безукоризненно сделанных операций, — было одно, а военно-медицинская администрация и военное начальство, не принимавшие спешных мер к отправке из Севастополя раненых, — совсем другое.

Пирогов понимал, что первое, хотя и не ясное еще для него во всей полноте, все-таки всецело зависит от второго, что эпидемии рожи и гангрены приходят вслед за скученностью больных, что необходимо как можно быстрее сортировать раненых, подавать им первую помощь на перевязочных пунктах, но потом тут же отправлять их из Севастополя в места более спокойные, просторные и удобные для их лечения, однако отправлять, как тяжело больных, а не как фронтовых солдат на новое поле битвы, — таких, с которыми разговаривать принято только криком команд, таких, которые должны по уставу «терпеть голод, холод и все солдатские нужды», а кто не вытерпел, тот сам в этом и виноват.

Тупая и косная, въевшаяся им в плоть и кровь недобросовестность военных чиновников, с которой сталкивался он здесь на каждом шагу, выводила его из себя, и когда в марте прошел слух, что в Херсоне сестры Крестовоздвиженской общины так взялись за аптекаря военного госпиталя, что довели дело до судебного следствия над ним и тот из боязни суда застрелился, — Пирогов ликовал непритворно.

— Ай да молодцы, сестрички! — говорил он, сияя, одному из своих врачей, Тарасову. — Слыхали? Аптекаря в Херсоне застрелили! Вот это настоящие сестры милосердия! И сразу видно, что там были за порядки, в этом госпитале, если уж аптекарь счел за лучшее застрелиться!.. Ох, не мешало бы и нашему севастопольскому

отправиться вослед своему коллеге! Подлец ведь, подлец первой гильдии!.. Нет, как хотите, голубчик мой, а в том, что у нас среди чиновников всех ведомств и среди военных тоже так много казнокрадов и вообще воров и мерзавцев, в этом виновато воспитание в наших школах, да-с!.. Кого готовят в них? Специалистов, и только! Но не граждан своей родины — вот в чем корень всех зол! Поэтому каждый и думает только о своем корыте, о своем кармане, а до общественных интересов никому в сущности и дела нет... Вам не нужно доказывать, — вы видите и сами, что если бы не мы, частные врачи, штатские люди в военном стане, да не сестрички наши, дай им бог здоровья, то больные и раненые хлебали бы вместо супа помои и лежали бы не на матрацах, а просто в грязи, как свиньи!.. Разве, когда мы с вами везли сюда сестер, предполагал кто из нас, что им придется здесь и кухарками быть? А вот пришлось же, пришлось самим кушанья готовить, иначе кормили бы раненых черт знает чем, потому что не украсть по своему ведомству того, что само в руки лезет, русский чиновник не в состоянии!.. Аптекаря же — херсонские они или севастопольские — охулки на руку не кладут нигде-с! Я с ними тоже имел дело, когда взялся лет десять назад чистить авгиевы конюшни{100} — второй военный госпиталь в Петербурге... Целое море пришлось мне тогда взбаламутить! Госпиталь огромный; десятки семейств лекарей и администрации больными там кормились, и рука руку мыла... Аптекарь же там отпускал больным вместо хины — бычью желчь, а вместо рыбьего жиру, — черт его знает, какое-то китовое или моржовое сало, отчего больных выворачивало наизнанку, как от мертвой зыби... Скученность же больных допущена была непостижимая: по сто человек на палату, рассчитанную на двадцать!.. Бинтов не мыли, — лишний расход! — а грязные и зловонные, в гною и в сукровице, переносили с одного больного, который уже благополучно преставился, на другого, только что прибывшего!.. Вот как там было! И смертность невероятная для мирного времени, — однако кого-нибудь беспокоило это? Никого и нисколько-с! А ведь посещали все-таки госпиталь этот важные генералы и даже высочайшие особы, и сам покойный Николай Павлович в нем бывал, и все находили госпиталь в превосходном состоянии... Судите же,

каково было мне против общего мнения пойти!.. И когда я принялся за этих чинодралов не хуже, чем наши херсонские сестрички за аптекаря, вот было крику с их стороны! Нашли даже во мне «помрачение ума» и, кажется, еще немного — запрятали бы в желтый дом до конца дней моих!.. Фаддей Булгарин{101} в своей «Пчеле» почтил меня вниманием: «Кто же такой этот профессор Пирогов? Не больше, как проворный резака, а в смысле учености всего-навсего беззастенчивый плагиатор...» Несмотря на все это, я там все-таки победил, конюшни царя Авгия очистил, второй госпиталь сделался приличным учреждением, приносить начал явную пользу больным, а не своей администрации только... Там я осилил, а здесь я бессилён, и чем дальше, тем лучше это вижу. Да и вам, конечно, это ясно... Везде воровство, везде беспорядок, везде больных и раненых как сельдей в бочонке, — и что же мы с вами, частные и штатские люди, можем сделать, когда сам генерал-штаб-доктор от всей этой бестолочи в восторге? Для генералов же не докторов это только досадная история — всякие вообще раненые портят им только списки людей... Я не знаю, хорошо ли они воюют, наши генералы, в этом я им не судья, и где кончается Горчаков, а начинается Коцебу, этого я не знаю тоже, но зато я вижу, как наши генералы интригуют друг против друга, как они, бедные, трудятся в поте лица, чтобы один другому подставить ножку!.. Но кому же от этого радость, как не тем же союзникам?.. Нет, плохо у нас воспитывают людей, которым потом бразды вверяют. Оттого-то мы и терпим теперь такое бедствие, как эта травматическая эпидемия — Крымская война!

— Травматическая эпидемия? — переспросил Тарасов улыбнувшись. — Пожалуй, действительно с нашей медицинской точки зрения именно так и можно назвать эту страшную войну.

— Когда-нибудь, когда никаких вообще эпидемий больше не будет, — сказал Пирогов, — исчезнут и травматические: это и будет время, «когда народы, распри позабыв, в одну великую семью соединятся...» И я не был бы врачом, если бы в это не верил. Но пока что, Василий Иванович, должен вам сказать, что начал я серьезно думать об отъезде отсюда. Будет уж! Поработал, надо дать место другим... Пускай другие попробуют, — может, им будет больше удачи, чем

мне... А я уж скажу «пас».

— Это вы серьезно говорите, Николай Иванович? — несколько оторопело поднял брови Тарасов, человек сыроватый на вид, полный, белоглазый и с белыми ресницами.

— Вполне серьезно... Вы видите сами, колит мой все не проходит, — куриный бульон пробовал есть — очень противен он мне показался... А вдруг еще привяжется тиф?.. И дома у меня не все в порядке: жена не ладит с моими ребятами, — те ее плохо слушают, — дескать, мачеха... Да, наконец, все говорят, что как только сойдут полые воды на севере, начнется война и там, под Петербургом. Могу, значит, пригодиться и там в крайнем-то случае... Думаю, что там гораздо лучше я могу пригодиться.

От длительной гастрической болезни Пирогов был худ, слаб, желт и желчен, — это видел Тарасов. Болезни приписал он и такое решение — уехать из Севастополя; поэтому он сказал:

— Скоро поправитесь, Николай Иванович, и бросите тогда все мрачные мысли...

— Нет уж, нет, не брошу! — сделал угловатый жест обеими исхудалыми руками сразу Пирогов. — Я ведь не для того поехал в Севастополь, чтобы только резать ноги, руки! Этого добра я переделал на своем веку достаточно, и с меня хватит!.. Я, между прочим, отлично знал и то, что здесь встречу, однако же я все-таки думал, что мне дадут сделать для наших раненых все, что можно бы было для них сделать... Не дают, — вы это сами видите! Везде только и натыкаешься, что на свои же шпаги, а воевать вышел с целой Европой!.. Так нельзя, Василий Иванович! И я устал, говорю вам откровенно. Независимо от болезни устал и требую отдыха. Баста!

— Николай Иванович, но ведь в таком случае и мы все, врачи, не останемся здесь без вас, — очень решительным тоном, который к нему как-то и не шел, заявил Тарасов. — Если вы действительно собираетесь уехать, тогда уехать придется и нам всем. Вы наша защита тут, вами и держимся все... А без вас что же мы будем представлять из себя такое? Мы ваш отряд врачей, вы же наше начальство... Если и в самом деле уедете вы, то нам неминуемо приходится ехать с вами... Не знаю, конечно, как другие, а я без вас

тут оставаться не намерен.

И Тарасов даже покраснел, говоря это, и задышал усиленно, что было слышно Пирогову.

Потерев плешь свою ладонями, что было у него признаком волнения, Пирогов отозвался Тарасову:

— Что ж, разумеется, мы ведь единый отряд частных штатских врачей, и все вы поработали тоже довольно, и половина переболела тифом, и были смертные случаи. Вот и Каде еле выкарабкался из когтей смерти, — просто чудом спасся, — а Сохраничев погиб... Отдых необходим, конечно, и вам тоже... кроме того... кроме того, должен я сказать, это может произвести на начальство и власть гораздо большее впечатление и заставит подумать поприлежней над вопросом: отчего уехал из Севастополя академик Пирогов, а с ним вместе и все врачи его отряда?

III

К концу марта Пирогов совершенно оправился от своей болезни. В апреле же Сакен объявил в приказе по гарнизону благодарность Пирогову и всем приехавшим с ним врачам за их ревностную и успешную службу, так же, впрочем, как и профессору Гюббенету и врачам его перевязочного пункта на Корабельной.

Но это признание заслуг со стороны начальства не поколебало все-таки решения Пирогова покинуть Севастополь, тем более что как раз перед этим погибло на Северной пятьсот ампутированных им солдат, и это заставило его к благодарности Сакена отнестись весьма подозрительно, как к тонкому виду взятки.

Если что и задерживало его отъезд, то только кровопролитные бои, дававшие много работы городскому перевязочному пункту.

Он уже выправил все необходимые для отъезда бумаги, думая выехать в начале мая, но ночные схватки из-за траншеи на кладбище и Карантинной высоте задержали его очень большим наплывом раненых. Однако едва только он справился с этим делом, как началась жестокая третья бомбардировка, давшая несколько сот раненых в первый же день и предвещавшая большое сражение из-за передовых

редутов, если только не окончательный общий штурм города.

Это заставило Пирогова, совершенно уже готового к отъезду, остаться снова, что оказалось и необходимым: раненых было тысячи. Даже и половины их в ночь с 26 на 27 мая не мог принять Гюббенег, тем более что его пункт находился под сильным обстрелом и тут же после потери редутов получил приказ перейти на Северную.

Раненых безостановочно несли с Корабельной в дом Дворянского собрания, причем были и такие случаи, что солдаты вместе с ранеными на носилках же приносили и оторванные осколками и ядрами руки и ноги их, говоря в объяснение такой странности:

— Кабы на тот перевязочный, не взяли бы, а как сказано было на этот, к Пирогову, несть, захватили на всякий случай: они же ведь еще свежие, авось Пирогов-доктор пришьет, вот бы и сгодился еще куда наш брат солдат!

О Пирогове, впрочем, сочиняли ходовые легенды не только солдаты; так, одно время было кем-то пущено по Севастополю, будто парламентар с письмом от французского главнокомандующего обратился к Сакену с просьбой, чтобы тот разрешил Пирогову отправиться в их лагерь на консультацию.

На баркасе переправившись через бухту, четверо солдат Камчатского полка принесли от Графской пристани тяжелые носилки с раненым перед третьим бастионом Иоанникием, часов в десять вечера. К этому времени раненых было в огромной зале уже много, и много было, точно в церкви, свечей, стеариновых, правда, не восковых, и в простых железных или медных подсвечниках. Эти свечи стояли на тумбочках, здесь и там, иногда же сестры милосердия, которых было здесь человек двенадцать, с подсвечниками в руках наклонялись над только что принесенными ранеными, чтобы осмотреть их — не умирают ли, не нужен ли им священник вместо врача.

Так одна из сестер наклонилась над носилками с иеромонахом; в одной руке ее был подсвечник, в другой — стакан и бутылка — четырехгранный полуштоф с остатками водки, которую носила она в операционную.

Увидя огромную бороду и резко блеснувший на черной рясе крест, к тому же на георгиевской ленте, сестра прониклась глубоким

почтением. Но только успела она спросить:

— Вы куда ранены, батюшка? — как Иоанникий, схватившись за полуштоф, очень сильно потянул его к себе и удивленно радостно пробасил вместо ответа:

— Что, водка, а?.. Ну-ка, налейте-ка стаканчик!

Сестра налила. Он выпил полный стакан в два-три затяжных глотка, приподнявшись для этого на локте, и, протянув ей стакан и выразительно щелкнув пальцем по бутылке, сказал уже спокойным командным тоном:

— Еще!

Обрадованная уже тем, что этому духовному лицу не понадобится, видимо, услуги другого такого же, дежурившего при перевязочном, сестра вылила в стакан все, что еще оставалось в полуштофе. Иоанникий неодобрительно крякнул, так как стакан получился неполный, однако выпил, прокашлялся, как лев, и повеселевшими глазами огляделся кругом, так и не удостоив сестру ответом, куда он ранен.

Но вот к нему подошел сам Пирогов. Как только осветили лежащего на матрасе Иоанникия с двух сторон свечами, Пирогов сразу узнал того богатыря Пересвета, который стоял около окна в симферопольской гостинице «Европа», а перед тем потрясал своды этой «Европы» своими песнями из числа не дозволенных начальством.

— А-а! — протянул он, невольно улыбаясь, точно встретил хорошего старого знакомого. — И вы, батюшка, тоже попали в наш дом скорби! Чем же мы можем вам служить?

Но Иоанникий, прежде чем ответить, нашел нужным справиться:

— С кем же это я имею честь говорить?

— Я лекарь Пирогов.

— О-чень приятно познакомиться! — пророкотал монах, протягивая ему руку.

— Эх, приятности в этом, к сожалению, мало... Куда, в ноги ранены?

— серьезно уже спросил Пирогов.

— Пока не в ноги, а только в ногу... Вот сюда, полюбуйтесь!

Иоанникий сам подтянул полы рясы, под которой все было в обильной загустевшей крови.

— Ох, он что-то очень спокойно относится к своей ране! — по-немецки обратился к стоявшему рядом с ним врачу Обермиллеру Пирогов, когда осмотрел рану. — Плохой признак... А рана серьезная: ногу придется отнять по коленный сустав.

Иоанникий смотрел на него выжидающе, но терпеливо.

— Придется нам сделать вам маленькую операцию, — сказал ему Пирогов. — Как это ни жаль, однако ничего другого придумать нельзя: ногу вашу сохранить невозможно.

— Отпилить значит? Ну что же делать: воля божья, — спокойно отозвался монах. — Разрешите только мне выпить перед этим солдатскую чарку водки, а?

— Дадим, дадим, как только на стол положим...

— А это, может быть, долго ждать придется?

— Нет-нет, на первый же свободный стол ляжете вы, и перед хлороформированием мы угостим вас водкой, чтобы поднять деятельность сердца.

Иоанникий недовольно крикнул, но Пирогов с Обермиллером и сестрой Травиной уже отошли от него к другому.

Засыпая под хлороформенной повязкой на операционном столе, раненые вели себя разно: иные пели молитвы, иные бормотали что-то малопонятное, как в бреду, иные выкрикивали команды... Иоанникий же начал ругаться неожиданно весьма вычурно и до того громогласно, что решительно утопил все звуки кругом и даже пушечные выстрелы с бастионов Городской стороны.

— Ну, такого шумного пациента еще не видали стены этого дома, — сказал Пирогов, когда он, наконец, утих.

Сам же Пирогов делал ему и ампутацию, но когда все было кончено, сказал окружавшим:

— Случай этот, господа, как будто бы даже и довольно легкий, однако мне почему-то кажется, что богатырь все-таки не выживет... Очень бы хотел я ошибиться в прогнозе, но...

И он развел руками, взглядываясь еще и еще в черты лица и в линии огромного тела монаха, потом добавил:

— Если же выживет, я первый буду этому рад.

IV

Четверо принесли раненого офицера. Офицер этот с окровавленным лицом и с поврежденными ногами, освободив носилки и улегшись на тюфяке на полу, начал усиленно возиться в кармане брюк, доставая деньги на чай своим носильщикам. Однако один из них, сам раненный в голову и наскоро обвязавший себя разодранным надвое платком, сурово сказал:

— Ваше благородие, не извольте хлопотать об эфтом. Ни к чему это совсем, не извольте!

Солдат этот был такой же рядовой, как и другие трое, но на вид гораздо старше их, суше, утомленной лицом. Он как-то начальственно кивнул на двери своим товарищам — на огромные, парадные, красного дерева с бронзой двери, — и те, помявшись немного, пошли с носилками к выходу; сам же он остался на перевязку.

Случайно, когда перевязывал его фельдшер, к нему подошел Пирогов. Рана в голову небольшим осколком принадлежала к легким, но очень усталое, худое лицо солдата заставило Пирогова сказать фельдшеру:

— Надо бы его оставить у нас денька на три: пусть бы отдохнул хоть немного.

— Никак нет, ваша честь, нельзя эфтого! — как будто даже обиженно отозвался на это солдат, не догадываясь, кто это говорит с ним: Пирогов был в белом халате.

— Почему нельзя? — спросил Пирогов не понимая.

— Да ведь нас-то, старых солдат, уже немного теперь осталось, ваша честь... Ежели теперь будем мы уходить с фронту по всяким пустякам таким, так ведь молодые-то солдаты без нас оторопеть могут!

— Оторопеть?

— Так точно-с. Оторопеют и, глядишь, побегут еще перед ним, а он тому и рад будет, ваша честь.

Пирогов знал, что «он» означает «неприятель».

Кое-как напялив на растолстевшую от бинтов голову свою фуражку без козырька, солдат ушел держать фронт, а Пирогов, не спросивший даже за многолюдством на пункте, как его фамилия и какого он полка, нет-нет да и вспоминал потом среди работы худое, усталое, закопченное дымом лицо, сурово глядевшее на него из-под ярко-

белой чалмы повязки.

Раненых было много; три дня проходили они через руки Пирогова чуть что не по тысяче в день. Наконец, с обращенных французами в сторону бухты «Трех отроков» снаряды часто стали попадать и в небольшой садик около дома Дворянского собрания и даже в самый дом, поэтому Сакен приказал перевезти всех лежавших там больных на Северную, в Михайловский форт, здесь же оставить пока только нечто вроде полевого перевязочного пункта с небольшим штатом врачей и фельдшеров.

Так как бомбы и ядра теперь уже очень густо летели в бухту, то можно было наблюдать с террасы дома, как перемещались суда.

Самый большой из кораблей — «Императрица Мария» — был передвинут пароходом «Владимир» к Михайловскому форту, а против него, вблизи Николаевского форта, или батареи, как его называли чаще, стал на якорь другой корабль — «Храбрый». Они как бы призваны были сторожить вход на Большой рейд. За ними в две колонны вытянулись корабли: «Великий князь Константин», «Чесма», «Париж» и транспорт «Березань». Корабль «Ягудиил» появился было в Южной бухте, но в него тут попала бомба, и его передвинули снова на Большой рейд и поставили около Павловской батареи; пароход «Владимир» подтащил на буксире к нему бриг «Эней», потом и сам стал рядом. Другие девять пароходов: «Одесса», «Крым», «Херсонес», «Эльбрус», «Громоносец», «Бессарабия» и прочие, деятельно сновали по бухте, перевозя с одного берега на другой войска и грузы.

Под теплым, даже горячим уже солнцем это была красочная картина, неустанной работы на продолжение борьбы с врагом, которому временно, случайно, — так казалось, — посчастливилось занять три редута, но который, между прочим, так и не решался пока придвинуться к разоруженной и брошенной бывшей Забалканской батарее. Плавающий мост через Килен-балку тоже развели и отбуксировали на шлюпках без всяких препятствий со стороны французов.

Никаких признаков упадка духа в гарнизоне Севастополя после потери «Трех отроков» Пирогов не замечал. Никто не говорил: «Ну, теперь конец Севастополю!» — или что-нибудь в этом роде. Только

ругали куда-то исчезнувшего генерала Жабокрицкого, да не совсем лестно отзывались о Горчакове, который не позволил Хрулеву отбить редуты, но в том, что они будут рано или поздно все-таки отбиты, не сомневались — особенно солдаты.

Узнав, что Пирогов уезжает, пришли проститься с ним две сестры из дома Гущина, Григорьева и Голубцова, которые бессменно проводили дни и ночи в этом мрачнейшем из всех севастопольских домов скорби, над дверями которого, как над дверями Дантова ада, можно бы было написать: «Оставь надежду всяк, сюда входящий». Это был дом умирающих, дом гангренозных, отравляющих воздух вокруг себя нестерпимым зловоньем, с которым не могли справиться целые ведра так называемой ждановской жидкости. Но и эти умирающие видели около себя заботливые, участливые лица двух простых и по-родному близких женщин, которые помогали выносить их койки на дворик, под деревья, в тихую теплую погоду, которые хранили их деньги с наказом, куда и кому переслать эти деньги после их смерти, которые принимали последний их вздох.

Когда Голубцова ехала со своим отделением сестер в Севастополь, то на одном из перегонов между Перекопом и Симферополем выпала из саней, ударилась о каменный верстовой столб и переломила два ребра; но, поправившись, сама просилась у Пирогова на тяжелую работу в дом Гущина, на героическую работу.

А на вид ничего героического в ней не было: обыкновенное русское круглое добродушное лицо, с несколько коротковатым носом, серыми застенчивыми глазами и веснушками кое-где; и Пирогову чувствовалась в ней, когда случалось ему к ней обращаться, какая-то неловкость и за то, что вот ей приходится отвечать на вопросы такого важного лица, как он, и за то, должно быть, еще, что на ней такой же золотой крест на голубой ленте, и коричневое платье, и белая косынка, как и на сестрах из барынь. Ведь старшей сестрой в их отделении была Бакунина, дочь петербургского губернатора, для которой сам граф Остен-Сакен был только хороший старый знакомый, часто бывавший раньше в гостях в их доме.

Григорьева была тоже очень скромная, даже робкая на вид, немолодая уже женщина небольшого роста, и, наверное, ни она, ни Голубцова не

решились бы прощаться с самим Пироговым, если бы их не захватил с собой его давний сотрудник, лекарский помощник из фельдшеров, Калашников, имевший первый гражданский чин коллежского регистратора и ведавший гущинским домом, который был недалеко от дома Дворянского собрания.

Калашников и говорил с Пироговым, встретив его на мраморной лестнице, нижняя ступенька которой была уже сильно попорчена ядром:

— Вот до чего хотелось и мне тоже с вами в Петербург отсюда, ваше превосходительство, да вот лиха беда: на кого же мне своих умирающих оставить?.. Решительно ведь никакой из врачей не выдержит воздуха нашего — убежит... Приходится, стало быть, Николай Иванович, мне до самого конца с ними отдежурить.

— До конца? — неопределенно спросил Пирогов, с любопытством, точно нового человека, разглядывая давно уж ему приглядевшегося, мешкотного, чрезмерно волосатого, с крупными следами оспы на лице Калашникова и этих обеих простых и робких перед ним сестер.

— До конца, а как же еще, ваше превосходительство? Тут, конечно, тройной может случиться конец, как плетка о трех концах бывает: или Гущину дому придет конец, или всему Севастополю, чего боже избави, конец, или мне самому, скорее всего, конец... Так что, с какой стороны ни погляди на это, а конца тут не миновать, — приходится так, значит, дотягивать, Николай Иваныч. А ваше дело, разумеется, совсем другое.

— Ну, какое же там другое? — недовольно возразил Пирогов, отвернувшись в сторону бухты, где на гладкой поверхности почти одновременно выскочили три белых фонтана от бомб.

Шутливо называя иногда Калашникова по-французски *officier de sante* (офицер здравия), Пирогов привык ценить его большую работоспособность и вообще привык к нему еще с поездки своей на Кавказ в 47-м году, куда Калашников сопровождал его тоже, и на службе в Медико-хирургической академии, где тот работал по вольному найму в анатомическом институте, консервируя трупы.

Трупный запах, тяжкий запах заживо разлагающихся человеческих тел, шел от него и сейчас. Этим запахом были пропитаны и платья

обеих сестер, несмотря ни на ждановскую жидкость там, у них, ни на свежий воздух здесь, на лестнице... Пирогов вспомнил, что доктор Тарасов тоже остался в Севастополе, — перешел в отряд врачей Гюббенета, ставшего с самого появления своего здесь в недружелюбные отношения к нему, Пирогову, и вообще из врачей с ним в Петербург уезжали только Обермиллер да еще двое с немецкими тоже фамилиями...

— Ничего другого нет, а есть то же самое: совсем от Севастополя уйти нельзя, — добавил Пирогов, переводя глаза с Калашникова на Григорьеву и Голубцову. — Можно только на время выпасть из строя, но потом, конечно, опять вернуться в строй... Если на Петербург не будет этим летом нападения союзников, то, разумеется, что же мне там?.. Повидаюсь с семьей, поговорю о здешних порядках с великой княгиней и опять сюда же... А Севастополь, несмотря ни на что, кажется, долго еще может стоять. Не зря же его зовут в иностранных газетах русской Троей.

— Приедете? — повеселел Калашников. — Ну, значит, будем ждать... А пока час добрый! Счастливого пути, ваше превосходительство! Пирогов расцеловался с ним и крепко жал на прощание не умеющие сгибаться руки обеих сестер, как будто извиняясь перед ними за свою слабость...

Он уехал в тот же день — 1 июня, твердо решив вернуться в Севастополь снова.

Заместителем его по главному наблюдению за общиной сестер сделался Сакен, так как об этом просила его собственноручным письмом сама великая княгиня Елена Павловна.

Глава восьмая. Штурм Севастополя

I

Если Пирогов, человек заведомо штатский, полагал, что русская Троя после потери ее передовых редутов может простоять еще долго, то совершенно иначе думали главнокомандующие с этой и с той стороны: дни Севастополя были ими сочтены, только счет дней у Горчакова

оказался несколько короче, чем у Пелисье.

Последнее объяснялось тем, что Горчаков был совершенно подавлен и испуган. Пелисье же при всей своей пылкости расчетливо учитывал то отчаянное сопротивление, которое оказали русские на Камчатском и других редутах, и старался подготовить штурм безупречно. Он знал, что должен еще завоевать себе у своего императора — Наполеона III — такое доверие, какое получил с первых своих шагов в Крыму его противник Горчаков от своего императора Александра II.

Казалось бы, крупный успех, выпавший на долю Пелисье 7–8 июня (26–27 мая), так сразу поднявший авторитет его среди главнокомандующих прочих союзных армий, должен был примирить с ним Наполеона, но поздравление, которое Пелисье получил по телеграфу от Наполеона, было и запоздалым, и очень сдержанным в выражениях, и резко подчеркивало цену успеха — большие потери французских войск, и заканчивалось прямым и строгим приказанием изменить план войны, то есть немедленно сделать ее маневренной, как это предписывалось раньше.

Пелисье получил эту телеграмму тогда, когда уже заканчивались им приготовления к общему штурму Севастополя. Этой палки в свое колесо он не вынес с надлежащим смирением. Он ответил телеграммой далеко не столь длинной, однако содержащей отказ следовать «преднамерениям» императора. Он ссылался при этом на мнения всех остальных главнокомандующих и просил не портить хороших отношений, которые у него, Пелисье, установились с ними, его же самого «не делать человеком недисциплинированным и неосторожным».

Отправляя эту резкую телеграмму своему императору, Пелисье вполне надеялся на то, что следующая, — всего через два-три дня, — телеграмма его в Париж будет заключать два магических слова: «Севастополь взят», а что этих двух слов будет вполне достаточно для того, чтобы загладить все его резкости, в этом он не сомневался ни минуты.

Совсем иной окраски была переписка Горчакова со своим императором.

Полураздавленный неудачей, готовый всех кругом винить в ней,

кроме самого себя, больной, старый, немощный духом, Горчаков ожидал величайших несчастий, из которых падение Севастополя было бы наименьшим, и заранее молил о снисхождении. Александр же был в той же степени не похож на Наполеона, как и Горчаков на Пелисье: он заранее извинял своему главнокомандующему все его возможные будущие несчастия вплоть до потери Севастополя. Однако Крым он предлагал отстоять, а для того, чтобы отстоять Крым, необходимо было, конечно, не потерять вместе с Севастополем его сорокатысячного гарнизона, закаленного и в огневых и в штыковых боях.

Александр писал Горчакову:

«Последнее письмо ваше, любезный князь, с донесением о взятии неприятелем наших контрапрошных редутов после кровопролитного боя, произвело на меня самое грустное впечатление, хотя я уже был к сему приготовлен телеграфическими депешами.

Положение ваше делается через это более критическим, и мысль вашу оставить этот несчастный город я понимаю, но как исполнить ее, не подвергнув гибели большей части его храброго гарнизона? Вот что, признаюсь, озабочивает меня до крайности.

Если по воле всевышнего Севастополю суждено пасть, то я вполне надеюсь, что со вновь прибывающими тремя дивизиями вам удастся отстоять Крымский полуостров.

Защитники Севастополя после девятимесячной небывалой осады покрыли себя неувядаемой славой, неслыханной в военной истории; вы с вашей стороны сделали все, что человечески было возможно, — в этом отдаст вам справедливость вся Россия и вся Европа; следовательно, — повторяю, что я уже вам и писал, — совесть ваша может быть спокойна.

Уповайте на бога и не забывайте, что с потерей Севастополя не все еще потеряно. Может быть, суждено вам в открытом поле нанести врагам нашим решительный удар».

Это снисходительнейшее царское письмо, посланное с флигель-адъютантом Олсуфьевым 4 июня, Горчаков получил уже тогда, когда ожидавшийся им штурм состоялся, но до того он тщетно напрягал все свои силы, чтобы найти способ в одно и то же время и оставить

Севастополь и сохранить в целости его гарнизон ввиду многочисленной и прекрасно снабженной армии противника, обложившей город.

Задача эта была, конечно, неразрешимой уже в силу того, что гарнизон Севастополя от Северной стороны, куда имел бы он возможность отступить, был отрезан широкой бухтой, а между тем даже и в более ранних письмах своих Александр, называя капитуляцию «самой крайней мерой», если и разрешал ее, то только без сдачи гарнизона.

Это условие обезоруживало Горчакова, так как он заранее знал, что на него не согласятся союзники. Но он знал еще и то, что по русским военным законам если и разрешалось оставить крепость, то не ранее как после отбития трех штурмов, между тем Севастополь не штурмовался еще ни разу.

Наконец, он помнил и о том, что весь севастопольский гарнизон был настроен настолько воинственно, что трудно было даже рассчитывать на полное повиновение всех частей, если объявить им решение сдать Севастополь без отчаянного кровопролитнейшего боя, который только и мог доказать им необходимость этого шага.

Но кроме всего этого, Горчаков заботился еще и о чистоте своего имени в глазах того высшего круга, в котором он привык вращаться.

— Ведь никто не захочет даже узнавать причин. Причин, по которым я вынуждаюсь сдать Севастополь, — вот это главное! — жаловался он своему неизменному слушателю — начальнику штаба, Коцебу. — А будут только плевать в меня: — Сдал!.. — Да еще, пожалуй, и «подлеца» прибавят! Государь добр, государь меня понимает, и он меня защитит, я в большой надежде на это, — спасибо ему! Но ведь на платок... как это говорится?.. На каждый роток не воткнешь платок, — в этом роде что-то... И не воткнешь! Всех чужих ртов не закроешь! Стыду и бесчестию предадут имя князя Горчакова! А чем же, чем же я виноват, скажите? Россия велика, а войска в Крыму мало, а что я могу сделать без войска? И без снарядов? И без пороху?.. Ведь пороху только до шестого июня осталось, а потом что?.. Была у меня надежда заболеть, да как следует заболеть, так чтоб и с постели не вставать

целый месяц, — вот как Меншиков вздумал тут заболеть, хитрец этот, но вот, вы сами видите, не удалось! Не повезло, — и в этом не повезло! Начиналась было болезнь, да я так разволновался двадцать шестого мая, что забыл просто, как-то даже из ума вон выскочило, что я болен! И что же теперь может меня спасти, скажите? Только три вещи могут меня спасти, и все должны быть внезапные: мир, пришедший как-нибудь внезапно, чума — тоже внезапная и в сильнейшей степени, — там, там, разумеется, у союзников! — или холера, да такая, чтобы от нее они там и свету не взвидели!.. Праздные мечты, утопии, дурацкие шутки, да, конечно, однако, и министру я так напишу, что никакого четвертого, недурацкого выхода из моего подлого положения я не вижу.

И Горчаков действительно писал военному министру, князю Долгорукову, и о том, что, «заболев, думал, что бог сжалился, наконец, и дарует милость не быть свидетелем бедственных последствий, которые готовит злая судьба», и о том, что его «осеняет единственный луч надежды на то, что неожиданные обстоятельства: мир, холера или чума, придут на помощь...»

После этого письма на помощь Горчакову решило прийти само военное министерство в лице его директора канцелярии, генерал-адъютанта барона Вревского.

Давно известно, что все гениальное просто: план Вревского был тоже чрезвычайно прост. Он предлагал вывести гарнизон из Севастополя не путем переправы через бухту под выстрелами неприятеля, а сухопутьем, в обход бухты, то есть к Черной речке, сосредоточив его для этого весь на Корабельной стороне, а на Городской оставив только незначительное число людей для заклепки орудий и застрельщиков, которые должны были ввести в обман противника своим неумолчным огнем. Когда же севастопольский гарнизон атакует позиции противника на его правом фланге, то одновременно все полевые войска Горчакова должны ринуться через Черную речку, поддержать натиск севастопольцев.

Таким образом, должен был произойти красивый маневр — обмен позициями: союзники захватывают Севастополь, а в это самое время русские войска захватывают все батареи правого фланга союзников, и

бесчестие сдачи русской крепости будет совершенно затушевано и перекрыто разгромом не менее сильно укрепленных позиций врага.

Красота этого плана, да еще предложенного не кем иным, как самим директором канцелярии военного министерства, непременно должна была очаровать и очаровала действительно все министерство.

Очарователен показался и самый стиль докладной записки барона Вревского, содержащей этот план:

«Если нам суждено очищать твердыни, орошенные русской богатырской кровью, то — движением вперед, а не назад. Так мы не потеряем более двадцати тысяч человек, но возвысим славу русского оружия. Крайние обстоятельства требуют и крайних мер. Смелым бог владеет. Неприятель берет наши батареи, и я не понимаю, почему его батареи были бы для нас неприступны».

Защитники-то Севастополя понимали это, но издали все кажется виднее и проще, и барон Вревский, обольстивший своим планом не только военного министра, но и самого царя, был послан им в Крым к Горчакову под предлогом следить за продовольствием армии и вообще за снабжением ее всем необходимым, а на самом деле затем, чтобы поддержать его своими убедительными доводами добиться того, чтобы он не отступал, а наступал, так как только наступление может сулить победу.

Короче, барон Вревский был выдвинут министерством и царем на роль русского Ниэля, хотя далеко не имел военных знаний Ниэля.

Но пока, снабженный наставлениями Долгорукова и личным письмом к Горчакову царя, Вревский собрался к отъезду в Крым, там уже были подготовлены и разразились решительные действия интервентов против Севастополя и его гарнизона: часто случается это, что спасители являются поздно.

II

Все складывалось в стане интервентов в пользу неотложных и решительных действий.

Прежде всего успех дела 7–8 июня (26–27 мая) требовал нового и теперь уже сильнейшего броска вперед, так как нельзя было дать остыть подъему, царившему в войсках, среди которых слово «штурм»

повторялось на все лады.

Затем никогда до этого войска союзников не были в лучшем состоянии в смысле здоровья и обеспечения их всем необходимым, и никогда раньше число их не было столь значительно под Севастополем, теперь скопилось до ста восьмидесяти тысяч, из которых сорок пять — одних только англичан, так что маршал Раглан поднял опущенную было голову.

Кроме того, взамен огромного количества истраченных для третьей бомбардировки снарядов прибыли новые транспортные суда со снарядами для мортир, тоже доставленных в большом числе: долговременная осада показала интервентам, что навесный огонь здесь гораздо действительнее прицельного, так как производит несравненно большие опустошения в рядах защитников крепости, скрытых от прицельного огня брустверами бастионов.

Но для того чтобы установить новые мортирные батареи в целях окончательного разгрома севастопольских укреплений, понадобились новые земляные работы. Поэтому совершенно неожиданно для русских союзники прекратили ту оживленную пальбу по городу и бухтам, которую подняли было они в первые дни после занятия редутов.

Вдруг наступила тишина.

Нельзя было догадаться сразу, что она значила.

Когда останавливаются ночью часы в спальне и перестает стучать маятник, это будит сонного. Все в Севастополе заволновались: поскакали адъютанты и ординарцы, замаршировали к бастионам резервы, — с минуты на минуту ждали штурма.

Когда же утвердились в том, что это противник к восьмидесяти километрам проложенных уже им в каменистой земле под Севастополем траншей добавляет новые, то успокоился даже и сам Горчаков: основательно готовясь к несомненному теперь уже общему штурму города, союзники давали время и осажденным не менее основательно подготовиться к его отражению, и прежде всего, стремясь сберечь как можно больше пороха и ядер для самых решительных минут, Горчаков приказал замолчать и русским батареям.

Постреливали только штуцерные в ложементах с обеих сторон, и то без всякого азарта: кирка и лопата сменили не на один день все другие орудия войны.

Французы принялись по-своему хозяйничать в захваченных редутах, обращая ложементы перед Камчаткой в две линии параллелей — третью и четвертую, ближайšie к новым батареям, на пятьдесят с лишком мортир, направленных на Корниловский, первый и второй бастионы; но и русские не сидели без дела, мирно дожидаясь окончания этих работ, цель которых была ясна.

Очень слабые первый и второй бастионы теперь превращались в бастионы не по названию только. Все, что можно было сделать для их усиления за несколько дней, было сделано под личным наблюдением Тотлебена: утолщены и подняты брустверы, углублены и расширены рвы, изменены направления старых амбразур, чтобы орудия смотрели в лицо появившимся на новых местах вражеским батареям, которых оказалось всего семь: четыре на Камчатке, две на бывшем Селингинском редуте и одна на Волынском; значительно увеличено число орудий крупного калибра и оборудованы места для полевых, чтобы действовать из них картечью на случай штурма.

Между тем две дивизии — 7-я и 15-я, отправленные из Южной армии в Крым, были уже не так далеко от Николаева, и до прихода их к Севастополю могло пройти не больше десяти дней. Впрочем, и к союзникам шло большое подкрепление: возвращался десантный отряд из Керчи вместе с эскадрой. Так что и с той и с другой стороны возникали и зацветали надежды; гораздо пышнее, конечно, у союзников, которые предвкушали уже полнейший и блистательный успех и видели вблизи окончание утомительной, кровопролитной и страшно затянувшейся осады.

Около шестисот осадных орудий было предназначено к тому, чтобы истолочь, разметать в кратчайший срок русские насыпи, засыпать рвы и привести бастионы в такой же точно вид, в какой были приведены три редута впереди Малахова.

Снова, как и в недавнюю бомбардировку, было заготовлено по четыреста — пятисот снарядов на орудие, в то время как защитники Севастополя никак не могли наскрести больше ста, и то далеко не для

каждого: были и такие орудия, для которых нашлось только по пяти снарядов.

Наконец, скученность русских батарей позволяла противнику скрещивать огонь своих орудий на каком-нибудь одном участке и, приведя его к полному молчанию, переходить на другой. Этот прием применялся уже союзниками не раз и с особым успехом перед штурмом Камчатки. Горчаков, приезжавший смотреть работы на бастионах, предугадывал, конечно, что прием этот будет применен снова, и говорил окружающим:

— Если бомбардировка такой силы, как двадцать шестого числа, будет продолжаться столько дней, как на пасху, тогда, господа, что же будет тогда, вы подумайте! Тогда я не только один гарнизон потеряю, я должен буду потерять три, четыре таких гарнизона, то есть всю свою армию. Потерять город, уже обреченный на потерю, это — одно, но потерять армию, которую тут могут стереть в порошок за десять дней, как хотите, а я не имею на это права! Нет! Упорствовать в защите того, чего нет возможности защищать, — что же я, безумец, что ли, потерял последний рассудок? Нет, слава богу, не потерял, и я не допущу этого! Не допущу!

Но на десятидневную бомбардировку не рассчитывали и сами интервенты. Напротив, военный совет, собранный Пелисье, на котором, кроме главнокомандующих, были и некоторые генералы союзных армий, решил, что вполне довольно двадцати четырех часов усиленного действия батарей, чтобы подготовить штурм.

На этом совете присутствовал и новый посланец Наполеона, гвардейский генерал с длиннейшей фамилией — Реньо-де-сен-Жан-д'Анжели. Пелисье не считал уже нужным поступить с ним так же, как с Низлем, несмотря на то, что он привез ему категорический приказ императора действовать по новому плану, то есть двинуть армию в глубь полуострова. Пелисье решил быть с ним не только преувеличенно любезным, но даже, чтобы угодить императору, дать возможность этому гвардейцу отличиться в предстоящем штурме.

Он сделал вид, что вполне готов начать выполнение плана Наполеона и эту почетную задачу предоставляет способнейшему из своих генералов — Боске, а корпус Боске, предназначенный для штурма

Корабельной стороны, вручил Реньо-де-сен-Жан-д'Анжели.

Правда, этот новичок не успел еще и осмотреться, куда именно и как должны были идти бригады его корпуса, но это и не было нужно: ведь все уже было подготовлено деятельным Боске, который перебрасывался теперь в сторону Инкермана и Черной речки, чтобы вести силы, расположенные в Балаклавской долине и на Федюхиных высотах, против сил Горчакова.

III

Среди французских генералов были все-таки осторожные люди, как Канробер и Ниэль: они на совете подали мнения не спешить со штурмом, а подготовить его возможно лучше. Но Пелисье отлично знал нерешительность своего друга Канробера; что же касалось Ниэля, то отношения у него с ним оставались натянутыми: он не забывал, что в глазах Наполеона Ниэль все-таки был первым кандидатом в главнокомандующие в случае, если бы на долю его, Пелисье, выпала какая-нибудь крупная неудача.

Но в удачу штурма он верил слепо.

Главными козырями своими он считал подъем духа солдат после захвата трех русских редутов и слабость огня русских батарей. Он совсем не хотел ждать, когда к севастопольским бастионам круторогие степные волы подвезут достаточное количество пороху и снарядов. Его основным правилом было ковать железо, пока оно горячо. Это был человек кипучей энергии, несмотря на свои почтенные седины.

Лорду Раглану предоставлялась возможность взять, наконец, Большой редан — третий бастион, подступы к которому были уже в руках англичан. Но о том, что рука Раглана была потеряна им во время битвы при Ватерлоо, не забыл хитроумный, как Улисс^{102}, Пелисье, и, желая окончательно пленить своего союзника, он предложил назначить днем штурма Севастополя годовщину победы Веллингтона и Блюхера над Наполеоном I при Ватерлоо, то есть 6/18 июня.

Пелисье не сомневался в том, что этот день как нельзя лучше воодушевит не только Раглана, но и всю вяло действующую английскую армию, одушевление же обеспечит победу англичан, совершенно необходимую в глазах квартала Сити и сенджемского

дворца: неудобно же было одерживать победы над русскими одним только французам в то время, как вся Восточная война велась в интересах

Англии!

Желая угодить императору, который недолюбливал Боске, назначением Реньо-де-сен-Жан-д'Анжели командиром ударного корпуса, Пелисье даже не пригласил Боске на военный совет. Он знал, что Боске будет слишком поражен и огорчен тем, что его отодвигают на задний план, и предпочел не объясняться с ним лично, а просто послать ему предписание «принять начальство над корпусом французов в двадцать пять тысяч человек для поддержания операций сардинской и турецкой армий, которые накануне штурма двинутся к селению Ай-Тодор».

Предписание это было получено генералом Боске всего за два дня до штурма, и он поспешно сдал свой корпус бравому гвардейцу, а сам отправился на Федюхины высоты.

Беспокойство Горчакова все возрастало по мере того, как он убеждался в близости новой бомбардировки, предвестницы штурма.

Для того чтобы штурм был отбит, он вынужден был посылать из своей армии полки на усиление севастопольского гарнизона, то есть на явную, по его мнению, и бесполезную для дела гибель. В то же время он чувствовал, что над ним нависают тучи со стороны Черной речки, и предполагал движение подобных же туч со стороны устья речонки Качи, где ничего не стоило союзникам высадить десант.

Одержимый лихорадкой самых тяжелых в его жизни мыслей, он сочинял приказ за приказом, куда и как и какие передвигать части, и части эти маршировали сегодня в одну сторону, чтобы завтра маршировать в другую, сам же он совершенно потерял способность спать и не давал спать никому из чинов своего штаба. И неизвестно, чем бы могло окончиться такое состояние там, на Инкерманских высотах, если бы здесь, в Севастополе, рано утром 5/17 числа не началась страшнейшая канонада.

В ожидании ее, а за нею штурма, Остен-Сакен рассылал по войскам гарнизона предписания, цель которых была указать все средства к успешной обороне города и Корабельной. Не забыты были и

кашевары, артельщики, каптенармусы, которым приказано было по тревоге бросать все свои хозяйственные дела, — взять в руки ружья и бежать в заранее назначенное место, где из всей этой нестроевщины должен был составиться сводный батальон.

Чтобы солдаты не расходились с носилками на перевязочные пункты, было совсем запрещено подбирать раненых после того, как барабанщики пробьют тревогу; так же и всем рабочим приказано было мгновенно по тревоге бросить работы и занять свои места на линии обороны. Пожары, которые могли возникнуть в городе, приказано было не тушить.

Строго воспрещено было преследовать отбитого противника, выскакивая для этого из-за укреплений: провожать его разрешалось только огнем. Наконец, чтобы оборона протекала как можно спокойнее и деловитее, совершенно изгонялось на это время «ура».

Но в то же время, несмотря на полную очевидность для всех, что главной целью штурма явится Малахов курган и прилегающие к нему бастионы, большая часть гарнизона держалась все-таки на Городской стороне, где обороной ведало несколько генералов; на Корабельной же начальником войск был Хрулев и в помощь ему, — на первый и второй бастионы, — назначен был начальник 8-й дивизии, князь Урусов.

IV

Четвертая бомбардировка Севастополя началась еще до рассвета, ровно в три часа; открыли ее мортиры интервентов, так как прицельная стрельба была затруднительна из-за темноты.

Однако и на бастионах и в городе долго не замечали потом рассвета, — до того густ и непроницаем для слабых утренних лучей был дым. В этом дыму в городе особенно заметны были только белые голуби, разбуженные падавшими на улицах снарядами. Они кружились, обезумевшие и слепые, пока не натыкались на разбитые окна верхних этажей домов и в них исчезали.

Гул, визг, шипение и искры в небе от летящих тучей снарядов и ракет; желтые вспышки выстрелов в дыму со стороны неприятельских батарей; взрывы бомб, и вслед за ними далеко во все стороны

летающие вместе с осколками камни мостовых или фундаментов разрушенных раньше домов; вопли раненых, особенно резкие в темноте; и тут же торопливый цокот подков по булыжнику, и верховой в темноте кому-то кричит: «Эй! Как проехать к штабу?..» И еще выкрики, — полновесная русская ругань: два ротных артельщика с тяжелым куском мяса, который несут они на палке, попадают в темноте в воронку, минут за пять до того вырытую бомбой, и роняют мясо; и как можно не выругаться тут от полноты чувства?..

А на колокольне одной из уцелевших еще церковей какой-то невозмутимый пономарь в четыре часа, как всегда по воскресеньям. — потому что 5 июня был воскресный день, — начал свой трезвон к заутрене, и на бастионах в прикрытиях, различая этот трезвон сквозь рев канонады, иные богомольные солдаты усердно крестились...

Так как Пелисье приказал «не ограничивать расхода снарядов», то французские артиллеристы старались изо всех сил выпустить их как можно больше... Стреляли залпами. Корабельную сторону засыпали разрывными снарядами, ядрами и ракетами еще до восхода солнца, и когда взошло оно и когда несколько разределся дым, свеянный бризом, общая картина разрушения оказалась жуткой, невыносимой для непривычных глаз: развалины домишек и казарм, кое-где красные от свежей человеческой крови, воронки, разорванные трупы...

Но привычные глаза севастопольцев скользили по всему этому, не задерживаясь. Шли носильщики с ранеными, проходили им навстречу команды солдат, везли на руках орудия, по тридцать, по сорок человек впрягаясь в одно... и часто не довозили, так как огромных размеров бомбы разрывались иногда как раз посреди этих порабочему напряженных толп...

Триста двадцать осадных орудий било по Городской стороне и сорок — по рейду. Но город был переполнен солдатами, приготовленными к отражению штурма, который мог начаться, когда этого захотят враги. Нельзя было опоздать прийти на бастионы к этому решительному для Севастополя моменту, и негде было укрыться от ядер и бомб: батальоны стояли просто на улицах.

Стояли, конечно, «вольно». Курили трубки, искали в рубахах, иные даже чинили белье... Где ели из котелков горячую кашу — свой

завтрак, где кашу уже поели и спали, потому что ночью не пришлось выспаться... Иные же командами шли купаться в бухте и плескались там и кричали, указывая друг другу на белые фонтаны, поднимаемые бомбами... Смерть была везде и уже перестала пугать.

Артиллерийские лошади везли бочки воды на бастионы — поливать разогретые до предела орудия; лихие фурштаты, один обгоняя другого, если было где обгонять, волокли туда же целые горы туров; иные из них доезжали, другие нет... А на бастионах люди перестали уже быть людьми: они перескочили через какой-то барьер, отделяющий человека от другого совсем существа — преображенного, нового, небывалого до этого в природе...

Бастионы сделались подлинными кораблями; их площадки — палубами, их брустверы — бортами, и казалось даже, что они не стояли на месте, что они давали сильнейший крен то вправо, то влево, как в бурю, — ежесекундно к ним летели снаряды, и на головы матросов, стоявших у орудий, летели мешки с землей, фашины, камни; осколки снарядов, досок из платформ; головы, ноги и руки разорванных около товарищей; брызги крови, песок и щебень в клубах седого дыма; вдобавок к этому взрывы, от которых земля как будто уходила из-под ног, — и среди всего этого ада нужно было действовать отчетливо и спокойно, заряжая или наводя орудия, исправляя обвалившиеся амбразуры, поднося из погреба снаряды, без секунды промедления становясь на место убитого или тяжело раненного товарища, чтобы не было перебоя в ответной по неприятельским батареям стрельбе.

На одном только третьем бастионе было выбито к полудню этого ужасного дня семьсот человек артиллерийской прислуги и триста — из прикрытия, — тысяча!

В десять часов утра появился уже на русских батареях снарядный голод, и пошел гулять позорный приказ «стрелять реже», для того чтобы вызвать обратный приказ «стрелять чаще» — на батареях противника.

Огромные бомбы разметывали крыши блиндажей, сделанные из толстых дубовых бревен, на которые было насыпано два-три метра земли; взрывали полуторастапудовые пороховые погреба, правда уже

истощенные на три четверти, подбивали орудия, разрушали брустверы, так что за ними невозможно уж было стоять в полный рост... Так было на Малаховом, на третьем и втором бастионах уже к двум часам дня.

Но в том же состоянии оказались к вечеру и бастионы Городской стороны — четвертый, пятый, шестой. Вечером же, с наступлением темноты, несколько судов союзной эскадры подошли очень близко ко входу на Большой рейд и дали почти одновременно залп из орудий одного борта по рейду и городу.

Страшный грохот и гул этого залпа перекрыл пальбу сухопутных орудий, а немного спустя залп повторился, и вслед за ним начались пожары в нескольких местах в городе и потом страшный взрыв на Артиллерийской слободке, где загорелся склад готовых, начиненных бомб.

Этих бомб на складе было около пятисот. С телеграфа над библиотекой, где стояли в это время Нахимов, Тотлебен и Васильчиков, было видно, как толпы солдат, озаренные пламенем, бежали от своих же бомб.

Казалось, назревал уже момент штурма, и трое из самых видных защитников города, каждый про себя ожидал внезапной тишины и барабанной дроби тревоги, потому что каждый ставил себя на место противников и думал, что лучшего времени для штурма они не могли бы желать: город горел, склады бомб в нем взрывались, потери гарнизона были огромны, бастионы были разбиты, рвы засыпаны...

Но вот на телеграфе появился совсем юный на вид мичман и отрапортовал Нахимову, как старшему из трех:

— Ваше высокопревосходительство! Командиру Малахова, капитану первого ранга Юрковскому, снарядом оторвало ногу, — требуется доктор для перевязки!

Нахимов смотрел на него непонимающими глазами.

— Юрковскому... оторвало... ногу? — переспросил он.

— Так точно, ваше высокопревосходительство!

— Слышите ли? — обратился Нахимов к Васильчикову. — Просят доктора! Доктора-с, а? А у меня вон переплетчика в подвале убило... со всей его семьей... Ваша фамилия-с?

— Мичман Зарубин, ваше высокопревосходительство.

— Кто вас послал ко мне?

— Генерал-лейтенант Хрулев...

— Доктора!.. Что же может доктор, если оторвало ногу-с?.. Юрковский, — вы слышите, Эдуард Иванович? — повернулся он к Тотлебену. — Третьего там теряем, на Малахове!

— Что делают на Малахове? — сожалеюще покачав головой, обратился Тотлебен к Вите.

— Идут работы, ваше превосходительство.

— Ага! Работают? Хорошо... Я сейчас же еду туда...

Вите казалось, что он послан был Хрулевым с важным все-таки донесением: опасно ранен командир четвертой дистанции оборонительной линии, заместитель контр-адмирала Истомина, и он не знал, чему приписать, что его донесение встречено, как какое-то ничтожное, вздорное, и Нахимов говорит что-то малопонятное о каком-то переплетчике... Но здесь, на телеграфе, на площадке, с которой виден был весь город, пылающий в нескольких местах, ждали другого донесения — о штурме, который мог бы принести общую гибель, а опасное ранение, может быть, даже близкая смерть Юрковского, — это было, конечно, далеко не то, что общий штурм города ночью.

— Ну, где я буду искать доктора-с, а? Пусть несут на перевязочный пункт, поезжайте-с, скажите там, — ворчливо обратился к Вите Нахимов, и не успел еще Витя сказать обычное: «Есть, ваше высокопревосходительство!» — как раздался новый оглушающий залп с моря, и в небе веером разошлись огненные следы снарядов, направляющихся сюда, в город, чтобы произвести новые разрушения и пожары.

Витя невольно задержался на одной из ступенек мраморной лестницы, следя за полетом этих бомб и думая об отцовском домике на Малой Офицерской, когда через перила перегнулась длинная и тонкая фигура Васильчикова, и он крикнул ему:

— Послушайте, мичман! Кто принял команду над четвертой дистанцией?

— Капитан первого ранга Керн, ваше превосходительство, — звонко

ответил Витя.

— А-а, так хорошо... можете идти.

V

Уже по тому, как велики были повреждения от русского огня на батареях союзников, и по тому, сколько было потерь среди артиллерийской прислуги, французские и английские генералы безошибочно могли считать штурм подготовленным еще до наступления сумерек: размеры русских потерь и повреждений представлялись им ясно.

К семи часам вечера Пелисье собрал своих генералов, руководителей близкого штурма, на совет, в какое именно время начать штурм.

Так как все, начиная с самого Пелисье, твердо были уверены в том, что ими подготовлен последний акт севастопольской трагедии, что завтра на развалинах бастионов будут уже развеваться их знамена, то вопрос был только в том, как избежать большого числа потерь, чтобы этим не огорчать императора.

Русские штыки были уже достаточно известны французским генералам по двум предыдущим боям, однако и русская картечь при атаке на Малахов курган и на второй и третий бастионы показала себя тоже неплохо. Начинать драку засветло было невыгодно, хотя на первом военном совете было решено штурмовать русские укрепления на рассвете. Второй совет отодвинул начало штурма на три часа утра, чтобы без потерь в темноте подвести как можно ближе к разбитым бастионам свои бригады.

Еще было решено на этом совете, что сигнал к атаке даст сам Пелисье ракетой со звездочками, которая будет пущена с Ланкастерской батареи. Эта, же ракета должна была служить сигналом и двум дивизиям англичан, которые под испытанной командой сэра Броуна расположились перед третьим бастионом.

Чуть только смерклось, французские дивизии потянулись занимать свои исходные места.

Дивизия Мейрана, которая должна была штурмовать первый и второй бастионы, спустилась в Килен-балку, дивизия Брюне заняла траншеи впереди бывшего Камчатского люнета и вправо от него; дивизия

д'Отмара, укрывшись в Доковом овраге, продвигалась к траншеям левее Камчатки.

В резерве дивизии Мейрана стал полк гвардейцев, а за Зеленым Холмом (Кривой Пяткой) — две конные батареи, которые должны были мчаться на захваченные позиции, чтобы отступающих русских солдат поливать картечью.

И артиллеристы этих батарей, и гвардейцы, и зуавы, и егеря, и алжирские стрелки, и легионеры иностранного легиона — все знали твердо, что славное утро будущего дня сделает их наконец-то хозяевами этого колючего Севастополя.

Десять больших судов союзной эскадры, пользуясь темнотой, продолжали громить город, хотя береговые батареи и отвечали им очень редким, правда, огнем.

Однако ни эта жестокая канонада, ни навесные выстрелы многочисленных мортир с сухопутья не остановили кипучих работ на бастионах.

Заменялись орудия, сколачивались заново разбитые платформы... Лопата за лопатой насыпались и выравнивались валы, очищались рвы, прорезывались амбразуры, утолщались крыши пороховых погребов, чинились блиндажи... а кто падал с лопатой или с киркой в руках убитый или тяжело раненный, тех уносили.

Все было просто, как всегда, а между тем стоило любого боя; все назывались только рабочими, а между тем были героями; и если на одном участке Малахова работали старые защитники Севастополя — владимирцы, а на другом гораздо более молодые — севцы, то ничуть не хуже шли работы и там.

«Русским нельзя давать не только ночи отдыха, но даже и одного часа, — писалось как раз в это время в одной из английских газет. — Если хотите иметь успех, надо бомбардировать их батареи самым усиленным образом в продолжение нескольких суток, не умолкая ни на одну минуту, и потом сейчас же идти на приступ...» Так заставили уважать себя рабочие на бастионах.

Охотцы, всего месяц назад справлявшие полугодовщину своих боевых трудов здесь, в Севастополе, камчатцы, остатки минцев и волынцев и Брянский егерский полк стояли в эту ночь в прикрытии третьего

бастиона. Дальше, на батарее Жерве, всего только один, численно слабый, — в нем не было и трехсот человек, — батальон Полтавского полка; остальные три батальона того же полка, Севский полк и два батальона Забалканского расположились на Малаховом; суздальцы — от Малахова до второго бастиона, который прикрывали два батальона забалканцев; наконец, на первом бастионе стояли части Кременчугского полка.

Боевые полки — Селенгинский и Якутский, с генералами Павловым и Сабашинским, помещались за домами и развалинами домов на Корабельной в резерве. Все эти полки и остатки полков несли большие потери от бомбардировки, но они знали, что назначение их — отстаивать Севастополь в случае штурма, которого необходимо дожидаться, не сходя со своих позиций, как бы долго ни пришлось ждать.

И они дождались.

Ровно в три часа над батареей ланкастерских орудий, стоявшей на Камчатке, взвилась ракета необыкновенной красоты и рассыпалась медленно падавшими крупными белыми звездами. Вслед за этим началось движение в траншеях противника, как об этом тут же донесли секреты пластунов, лежавшие впереди второго бастиона.

Прошло не больше пяти минут, и барабанщики на бастионе лихо ударили тревогу, и барабанная дробь прокатилась по всей линии укреплений.

— Ваше превосходитс... Тревога!.. Тревога!.. — кричал Витя Зарубин, вбегая в оборонительную казарму первого бастиона, где на железной койке командира этого бастиона, Перелешина, прилег отдохнуть от забот целого дня и половины ночи начальник всего левого фланга укреплений Хрулев и забылся тяжелым сном.

Догорающая свеча чадила; от нее юркнули в стену, насухо сложенную из камней, две мыши.

Так как Хрулев лежал одетым, то, вскочив и оглядевшись припухшими красными глазами, он тут же напялил папаху, накинул бурку и выскочил из казармы наружу, ничего не спросив у Вити: нечего было спрашивать, раз до сознания дошло слово «тревога».

Но было и другое еще слово, «Малахов», которое стало рядом со

словом «тревога»: не здесь, на фланге, а там, в центре укреплений, в сердце обороны должен был стать начальник левого крыла, чтобы руководить защитой.

И, перегоняя Витю, Хрулев бросился к конюшне, где под навесом белелся в чуть начинавшей редеть темноте его аргамак, такой же неуязвимый пока, как и хозяин.

Однако треск и грохот сзади заставили его оглянуться.

— Что там такое? — спросил Хрулев.

— Бомба в окно влетела! — крикнули оттуда, от казармы.

Несколько моментов ждали взрыва, но взрыва не было. Бомба легла спокойно на ту самую кровать, с которой только что встал Хрулев.

Ему еще успели сказать об этом.

— Вот тебе раз! — удивился Хрулев, уже сидевший на своем белом. — Значит, бог еще нас, грешных, бережет! Ну, в добрый час!

Он перекрестился, слегка приподняв папаху, и послал вперед белого. Витя и Сикорский на небольших казачьих лошадках пустились следом, не удивляясь тому, что никаких распоряжений по обороне этого бастиона Хрулев не сделал теперь.

Распоряжения были даны раньше, а капитан 1-го ранга Перелешин был переведен сюда с Малахова кургана, на котором провел семь месяцев, командир же пехотного прикрытия, генерал Урусов, был тоже не новичок.

Малахов же тревожил Хрулева еще и потому, что старый хозяин его, Юрковский, был при смерти, а новый хозяин — Керн — мог что-нибудь и не так сделать, самое же важное для него было в том, что и командир пехотных частей там, генерал Замарин, был тоже ранен и заменен молодым генералом Юферовым; наконец, Тотлебен прислал туда приказание поставить справа четыре полевых орудия на случай штурма, и Хрулева беспокоил вопрос, успели ли их поставить.

Он не сомневался в том, что и теперь, как десять дней назад, первые штурмующие колонны французов двинутся против Малахова. Поэтому он не останавливался ни на втором бастионе, ни дальше, а спешил поспеть на курган к началу штурма.

Однако именно там, откуда он только что уехал, и поднялась оживленнейшая орудийная и ружейная пальба: дивизия Мейрана,

выйдя из Килен-балки, первая бросилась на штурм.

Но встречали ее не только легкие батареи и стрелки, стоявшие на банкетках. Если ракета, пущенная с Камчатки, служила сигналом для начала штурма, то и на Малаховом, как самом высоком месте левого крыла оборонительной линии, вспыхнул ярким белым огнем фалшфейер, как сигнал для флота, для города и правого крыла бастионов, что штурм начинается, вот-вот грянет, — назрел.

Штурм еще не было тогда, но барабаны уже били тревогу, и этот взвившийся в темное небо белый огненный столб сдвинул с места прежде всего шесть пароходов; «Владимир», «Херсонес», «Бессарабия», «Крым», «Громоносец» и «Одесса» на всех парах ринулись к Килен-бухте и открыли сильнейший огонь по Килен-балке как раз в то время, когда оттуда выдвигалась вторая бригада дивизии Мейрана.

Такой предусмотрительности русских, такой боеспособности Черноморского флота, казалось бы совершенно приведенного в негодность, никак не предполагал Пелисье, это было первое, что сильно расстраивало его планы.

Начало четвертого часа ночи в июне на южном берегу Крыма — это еще не рассвет, однако солнцу, встающему из-за моря, ничто не мешает, и какие-то если не лучи, то предвестники его лучей уже проникают в это время в темноту, и темнота на глазах сереет, хиреет, оседает вниз и с каждой минутой становится все виднее и виднее кругом.

Десять больших судов союзного флота принесли много потерь своей бомбардировкой в эту ночь севастопольскому гарнизону; но шесть русских пароходов явились так вовремя и так кстати, что второй бригаде Мейрана пришлось отступить в глубь балки, оставив первую без поддержки, а первая не вынесла густой картечи и, не дойдя всего тридцати шагов до второго бастиона, остановилась.

Брошены были штурмовые лестницы и фашины, — зуавы рассыпались, притаясь за камнями и в ямах, и открыли стрельбу по амбразурам, но вперед не двигались, а время шло: штурм на этом участке осекался в то время, как на других он еще не начинался.

Чтобы поддержать Мейрана, Пелисье приказал осадным орудиям

открыть бомбардировку, и туча бомб полетела на первый и второй бастионы. В то же время новые ракеты со звездочками взвились в небо с Камчатки. Это было красивое зрелище, так как медленно падавшие белые звезды заняли теперь большое место в небе; теперь это был сигнал, которого не заметить было уже нельзя, и дивизии Брюне, д'Отмара и сэра Броуна двинулись одновременно на штурм своих участков русского фронта.

Мейран был ранен при первом приступе, однако он так был поражен своей неудачей, что, наскоро перевязавшись, построив отступившие колонны и вызвав из резерва два батальона гвардейцев, снова с большой горячностью пошел на штурм, но снова был ранен картечью в грудь и на этот раз смертельно.

Бригадный генерал де Фальи, принявший от него командование дивизией, ничего уже сделать не мог: картечь неслась с верков, картечь неслась с бортов русских пароходов, потери были так велики, что французы стремительно ринулись назад, в спасительные извилины Килен-балки, и больше уж нельзя было заставить их выйти оттуда.

Не только лестницы, фашины, саперные лопаты, которые были брошены, но еще и человек пятьдесят пленных достались здесь Урусову, руководившему обороной.

VI

Когда Хрулев доскакал до Малахова, там только еще устанавливали два полевых орудия из четырех, посланных Тотлебенем, для чего нужно было значительно поднять насыпь.

— Одно... два... А еще два где? — старался осмотреться в редяющей мгле Хрулев.

— Два орудия не могли прибыть, — начал было докладывать ему узкий в плечах артиллерийский подпоручик, но Хрулев перебил его криком:

— Ка-ак не могли, когда штурм?.. На гауптвахту!.. На десять суток!

— Мост был поврежден снарядами, ваше превосходит... — успел было в свое оправдание сказать подпоручик, но Хрулев уже повернул от него лошадь, и Витя слышал только, как его генерал выкрикнул, отъезжая:

— Моста не сумели починить в такое время! Эх, сказал бы я вам

словечко!

Витя вопросительно поглядел на Сикорского, больше на память, чем глазами, ловя выражение его длинного усталого лица в полумгле. Вопросительный взгляд этот значил: «А ты как бы стал чинить мост и чем?» Сикорский понял его: он поднял левое плечо к уху и вытянул трубкой тонкие губы.

— Где же генерал Юферов? — крикнул Хрулев, вытягиваясь на стременах своих, похожих на крысоловки, и поводя вправо-влево папашой.

Вместо Юферова подошел Керн. По его словам, Юферов только недавно был здесь и поехал к церкви Белостокского полка, где тоже устанавливались полевые орудия, над чем работало два батальона Севского полка.

— Хорошо, около церкви, прекрасно! Но ведь сейчас штурм!.. Он должен быть здесь, а не там! — кричал Хрулев. — А мост через бухту починен?

Этого Керн не знал.

Рассветало быстро. С каждой секундой становилось светлее, и ясней выделялась плотная фигура Керна, а на пожилom лице его — треугольные вздутия под глазами, ближе к плоскому широкому носу, чем к ушам.

Но вот оглушительно разорвалась сажень в тридцати большая бомба. Два человека из тех солдат, которые возились над установкой полевых орудий, были подброшены... Мелькнули перед глазами Вити раскоряченные ноги, бессильно взмахнувшие руки и тут же исчезли в дыму.

Как раз в это время подъехал генерал Юферов, лет тридцати пяти на вид, с красивым бледным лицом, очень серьезным.

— А-а! Вы? Что? — совершенно неопределенно обратился к нему Хрулев.

— Полевая батарея поставлена у церкви, — приложив руку к козырьку, тоном рапорта ответил Юферов.

— Сейчас должен начаться штурм!

— Люди расставлены, готовы, ждут, — снова взметнул руку к козырьку Юферов.

И только когда донеслись до Вити эти спокойные слова, сказанные несколько гортанным голосом, он присмотрелся к банкетам: они желтели сплошь от солдатских шинелей.

Еще два снаряда разорвались почти в одно время, один сзади, другой довольно далеко справа, но это были уже последние: наступление дивизий Брюне и д'Отмара на Малахов началось, — густые колонны показались со стороны Камчатки, и штуцерники на банкетах, а также и те, у кого были нарезные ружья, подняли по всей линии верков встречную пальбу.

Защитники Малахова не знали, конечно, что одною из первых пуль, пущенных ими, был смертельно ранен в грудь генерал Брюне, храбро шедший впереди беспорядочной, не успевшей построиться, массы своих солдат, а вслед за ним был убит пулей в голову командир всей артиллерии его дивизии, полковник Делабуссиньер, и две эти потери внесли полное замешательство в нестройные и без того ряды передового батальона, очень поредевшего в первую же минуту наступления. Неожиданно было для французов, чтобы русские встречали их такой пальбой с дальнего все-таки расстояния — в девятьсот, примерно, шагов. Но в полках русских стало только гораздо меньше солдат, чем было их во время боев на Алме и Инкермане, штуцеров же больше; кроме того, и нарезные ружья били теперь на девятьсот шагов.

И в чем еще убедились французы после первых же русских залпов, это в том, что повторить свой почти парадный, победный марш на бастионы, как это сделано было ими десять дней назад в отношении передовых редутов, им едва ли удастся.

Что обе колонны французов, появившиеся справа и слева от Камчатки, идут в атаку на Малахов, так показалось отсюда только в первые моменты. Но с каждым моментом становилось отчетливее видно вдаль, и вот, наконец, ясно стало, что левая колонна рассыпалась и частью прячется в каменоломни, частью выравнивает фронт против второго бастиона, а на Малахов идет правая колонна и, хотя многие падают в ней, идет быстро.

Незадолго перед тем вернувшаяся из экспедиции в Керчь, точно с увеселительной прогулки, дивизия д'Отмара и отдохнула и

чувствовала себя победоносной.

Была ли в этом большая доля презрения к русским, навеянного беззащитностью Керчи, или это была примерная стойкость солдат дивизии, считавшейся лучшей в корпусе Боске, но наступавшие, на ходу разобщившись на два отряда, шли быстро, теряя многих, но все-таки выдерживая и частую ружейную пальбу и картечь.

Однако, не дойдя всего каких-нибудь ста шагов до рва кургана, левый отряд как бы споткнулся весь сразу, от передних рядов до задних. Вся напряженность, с какою шли вперед эти приземистые смуглые чернобородые люди, в синих мундирах и острых кепи, опала вдруг... Вот они остановились... Вот, беспорядочно отстреливаясь, они попятились... Вот передние побежали, наконец, пригибаясь к земле и увлекая за собою задних, и многие падали, чтобы не подняться больше.

— Ого! Ого! Дали знать им мадам ля мэр де Кузька! — возбужденно кричал Керн Юферову, наблюдая за ходом дела сквозь амбразуру. — Всыпали, бабку их за жабры, двадцать два с кисточкой!

Он был человек по натуре веселый и любил заковыристые выражения, а теперь был для этого прямой повод: штурм был отбит.

— Они на этом не кончат, — сказал ему Юферов. — Они пойдут еще раз...

— Тем для нас лучше!.. Тем их больше у нас тут останется...

Он хотел добавить кое-что живописное к этой бледной фразе, но заметил, что второй отряд французов, правый, направляясь на батарею Жерве, не идет уже, а бежит вперед, и передние недалеко уже от бруствера, сильно испорченного канонадой.

Это был пятый стрелковый батальон первой бригады дивизии д'Отмара; вел его майор Гарнье.

С батареи Жерве дали по этому батальону залп картечью, и Гарнье был ранен в левую руку, но подъем энергии его был велик, — он едва заметил, что ранен, — он бежал впереди своих солдат, и не успели дать по ним второго залпа картечью, как они уже вскочили на бруствер.

Полтавцы пустили в дело штыки, но их было немного, они были рассыпаны по батарее тонкой цепью, французские стрелки ринулись

через невысокий бруствер плотной и стремительной толпой, и часть их захватила орудия, другая, большая, кинулась дальше, в глубь батареи.

Фронт русских позиций был прорван в самом слабом месте.

VII

Передовые части дивизии Брюне, укрывшись от пуль в каменоломнях, преодолели замешательства первых минут. Их подтолкнули подошедшие сзади батальоны, их подняли новые начальники, ставшие на место убитых, и со второго бастиона увидели, что они, вновь выбравшись из убежищ, толпами бегут к валу.

Это была решающая минута.

Зуавы знали, что с одного из холмов, несколько дальше ланкастерской батареи, установленной на Камчатке, на них смотрит сам главнокомандующий, старый их генерал, алжирец Пелисье, и не хотели ронять в его глазах своей славы — славы лучшей пехоты в мире. Они бежали самозабвенно. Надвигающийся быстро рассвет позволял уже им обегать многочисленные волчьи ямы и воронки.

Несколько десятков зуавов с двумя офицерами, значительно опередив других, вскочили уже в ров бастиона; а отсюда, карабкаясь, как кошки, скрытые от пуль насыпью, двое офицеров с саблями наголо первыми взобрались на

бруствер.

Но бруствер был уже весь облеплен якутцами, наставившими вниз штыки, и один из офицеров-зуавов, с разинутым от воинственного крика ртом и выкаченными черными глазами, был тут же проткнут штыком и упал в ров, другой бросил саблю и быстро был передан в задние ряды как пленник.

Но во рву притаилось несколько десятков зуавов-солдат, которых трудно было достать пулями, да пули к тому же нужны были для других, толпами подбегающих к валу с лестницами в руках.

— Лупи их камнями, братцы! — закричал майор якутского полка Степанов.

И в ров полетели камни. Зуавы подняли руки — они сдавались.

Однако французами полны уже были все воронки в нескольких

десятках шагов от вала, и несколько минут длилось то, что невозможно передать словами. Неумолкающий грохот ружейной пальбы с обеих сторон, частые выстрелы полевых орудий, осыпающие французов картечью, бешеные ругательства и вопли раненых и упавших в волчьи ямы, трескотня барабанов, пронзительный вой рожков.

Наконец, зуавы не выдержали и бежали, хотя на них и смотрел в подзорную трубу старый их генерал, алжирец Пелисье, а другой генерал, новый, с длиннейшей фамилией, посылал им на помощь батальоны гвардейцев из резерва.

Два раза еще потом откатившаяся дивизия умиравшего от раны Брюне шла на штурм второго бастиона, но теперь уже не доходила и на четыреста шагов: оба раза, не выдерживая огня якутцев, селенгинцев, владимирцев, суздальцев и страшного действия картечи, поворачивала назад, устилая ранеными и убитыми поле.

Атака на левый фланг севастопольских позиций не удалась, — две французских дивизии разбились о них и не пытались уже повторять попыток, когда из-за моря выкатилось солнце.

Но в одно время с французами, по тому же сигналу с Камчатки, должны были двинуться англичане на штурм третьего бастиона и Пересыпи, примыкающей к нему, где тоже стояли батареи. Верные себе, они несколько запоздали. Уже гремела пальба со всех остальных укреплений по французам, когда англичане только что выходили из своих траншей, а резервы их начали продвигаться вперед по балкам Сарандинакиной и Лабораторной.

Зато они шли в полном обдуманном порядке: впереди цепь стрелков, потом широкоплечие матросы с лестницами и фашинами, а за ними солдаты легкой пехоты тащили мешки с шерстью.

Безупречно держали строй и три колонны, назначенные для одновременной атаки третьего бастиона, Пересыпи и промежуточных батарей, точно был это и не штурм, а парад после победоносного штурма.

Но очень теплая встреча ожидала эту девятитысячную армию прекрасно снаряженных и вымуштрованных солдат. Маршалу Раглану пришлось в этот день писать в своем донесении в Лондон:

«Еще никогда я не был свидетелем столь сильного и непрерывного картечного и ружейного огня с неприятельских верков...»

Это была правда. На банкетах укреплений, — от батареи Жерве и кончая Пересыпью, — стояли солдаты пяти полков, но настолько малочисленных, что два их них — Минский и Волынский — были сведены в один батальон; однако это были весьма обстрелянные и окуренные порохом солдаты. Они стояли в две шеренги, — передняя стреляла, вторая заряжала, и в этой быстроте действий соперничала с ними артиллерийская прислуга, посылавшая в красномундирные ряды наступающих картузы картечи.

Сметены были цепи стрелков. Матросы, бросив штурмовые лестницы, побежали назад, один за другим падая на бегу. Парадно маршировавшие колонны растерянно остановились, потом рассыпались по ямам.

Бессменно стоявший на страже третьего бастиона с самого начала осады контр-адмирал Панфилов, человек баснословного спокойствия, посмотрел и сказал уверенно:

— Нет, не дойдут!

А между тем от передовых траншей англичан, переделанных за последние дни из русских ложементов, до исходящего угла бастиона было не больше трехсот шагов. Град ружейных пуль и картечи остановил на полпути все три колонны, из которых в одной было шесть тысяч человек, в другой — две, в третьей — тысяча.

Убит был генерал Джон Кемпбель, ранены сэр Броун и несколько штаб-офицеров.

Однако Большой редан во что бы то ни стало должны были взять в это утро. Десять минут растерянности прошло, и англичане снова пошли на штурм.

Теперь они продвинулись ближе к веркам, их остановили только засеки, устроенные здесь по кавказскому образцу полудугою перед рвом и валом. Сооружения эти, очень нехитрые, оказались, однако, неодолимыми под губительным огнем почти в упор. Напрасно английские стрелки пытались то разбирать руками засеки, то, прячась за ними, вступать в перестрелку с русскими, стоявшими на бруствере: картечь их выбила быстро. Отступление англичан обратилось в

безудержное бегство.

Третья попытка взять если не Большой редан, то хотя бы одну русскую батарею между ним и Пересыпью, кончилась тем же. И когда Пелисье предложил Раглану снова послать свои войска на штурм, тот решительно отказался.

VIII

А между тем сам Пелисье видел еще возможность крупного успеха: в прорыв русских позиций на батарее Жерве, как раз по соседству с третьим бастионом, был уже послан целый линейный полк во главе с полковником Манеком.

Но гораздо раньше его опасность, угрожавшую Малахову кургану с тылу, со стороны его горжи, увидел Хрулев.

Он дал шпоры коню, гикнул, как уральский казак, и поскакал наперехват бежавшим полтавцам, с которыми было и несколько человек матросов от орудий.

— Сто-ой!.. Сто-ой, братцы! Куда-а? — кричал он неистово на скаку...

— Ди-ви-зия целая идет, а вы бежите!

Он оглянулся на ординарцев; ближе других к нему скакал боцман Цурик.

— Цурик! К генералу Павлову скачи, чтобы дивизию сюда! Скорей!

Боцман хлестнул арапником поперек брюха свою лошадку бурого цвета с чалой холкой и поскакал к церкви.

Витя знал, что около церкви Белостокского полка стоял в резерве генерал Павлов, но при нем было всего шесть рот якутцев, а совсем не дивизия. Слово «дивизия» было пущено Хрулевым просто для подъема духа.

Однако и одного вида всем известного генерала в папахе, бурке и на белом коне — Хрулева — оказалось довольно, чтобы бежавшие остановились.

— Навались, ребята! — крикнул один из них, матрос, черный от дыму, как негр, без фуражки и с банником в руках.

— Навались, навались, братцы! — закричал, поймав на лету это чудодейственное народное словечко, Хрулев.

А между тем французы, зарвавшиеся слишком вперед, частью

строились, остановившись тоже, частью поспешно забирались в домики по скату Малахова кургана, наполовину разбитые бомбардировкой, и открыли оттуда стрельбу, поджидая свою дивизию, настоящую, подлинную, идущую за ними следом, первую дивизию первого корпуса, которую вел генерал д'Отмар.

Не минутами измерялось теперь время — секундами. На Малаховом подняли уже красный флаг — сигнал большой опасности. На помощь к прорвавшемуся батальону майора Гарнье вслед за девятнадцатым линейным полком спешно шли большие силы, тогда как на помощь полтавцам прискакал один только Хрулев со своими ординарцами.

Вдруг Витя увидал в стороне каких-то солдат-рабочих с лопатами...

— Идут! Идут! — закричал он звонко, подняв в их сторону руку.

Хрулев обернулся к нему и тут же двинул белого в сторону рабочих.

— Какого полка, братцы?

— Севского! — ответили солдаты.

— Бросай лопаты!.. В штыки! За мной!.. Благоде-е-тели! Выручай!

Бросить лопаты и взять в руки ружья, бывшие за спиной у каждого, было делом двух-трех секунд.

И вот севцы, — их было всего около ста сорока человек, — со своим ротным, штабс-капитаном Островским, без выстрела кинулись в штыки на французов, успевших кое-как построиться, подтянув отсталых.

Этот штыковой бой был короткий: французы не вынесли напора севцев, — часть их попятилась назад, к батарее Жерве, часть рассыпалась по домишкам.

Тем временем оправились и пришли в порядок полтавцы. Теперь они бежали, штыки наперевес, преследовать отступавших, а севцы остались перед домишками, откуда французы расстреливали по ним большой запас своих патронов.

За стенами строений они чувствовали себя гораздо лучше даже, чем в своих траншеях. Из ближайшего же к севцам дома, в котором засело человек двадцать, поднялась в окна и отверстия в стенах, пробитые осколками бомб, такая частая пальба, что дом окутало дымом, как при пожаре, а севцы падали один за другим.

— Вперед, братцы! — скомандовал Островский и бросился к этой маленькой крепости с саблей, а за ним его солдаты.

Но пуля попала ему в лоб над переносьем, и он упал с размаху.

— Ура-а! — закричали севцы, забыв о запрете кричать «ура», прикладами выбили дверь, ворвались в дом и, как ни яростно защищались французы, перекололи всех.

Однако засевших в домишках, как в укреплениях, было немало, человек триста, в то время как севцев из роты оставалось пятьдесят, не больше.

Хрулев же в это время метнулся к полевым батареям Малахова, чтобы направили выстрелы сюда, на свои же домишки.

Но скоро понял и капитан Будищев на своей батарее, куда нужно повернуть дула легких орудий.

— А ну-ка, прорежь, молодец! — то и дело командовал он своим комендорам.

Чтобы лучше разглядеть действие своих пушек по домишкам, он взобрался на бруствер. Он был весь в дыму и экстазе боя. И вдруг свалился он головою вниз, прижав к груди правую руку: штуцерная пробила ему сердце.

Так на батарее своего имени погиб этот храбрый моряк.

А в это как раз время беглым маршем подоспели, наконец, якутцы с генералом Павловым, и кстати: вслед за батальоном Гарнье пробились сюда еще и большая часть первого батальона полка Манека; перед французами снова пятились полтавцы, — севцы же были почти перебиты, вступив в неравную борьбу с засевшими в домишках.

Дали знать, чтобы прекратили орудийный огонь по Корабельной, и началась жаркая штыковая схватка. Две роты якутцев ударили с фронта, остальные с флангов; окруженные с трех сторон французы не выдержали, хотя бились упорно, ожидая своих на помощь.

Часть их поспешно отступила снова на батарею Жерве, часть рассыпалась по домишкам, и это заставило якутцев разделить свои силы: одни гнали отступавших, другие принялись за домишки, откуда продолжалась стрельба, приносящая много потерь.

Французы не сдавались, хотя и были окружены, и стреляли на выбор.

— А-а! Ты, проклятый, в наши хаты влез да озорничаешь! — кричали, свирепея, якутцы. — Руками передушим!

Если двери были из толстых досок, не поддававшихся прикладам, они

вскарабкивались на крыши и оттуда сквозь пробоины, сделанные снарядами, бросали внутрь черепицу.

Много жертв потребовалось тут, чтобы очистить эти невзрачные хаты, почти развалины, от французов, но все-таки хаты были очищены почти в одно время с батареей Жерве, где французы хозяйничали уже возле орудий, обращая их жерла внутрь площадки.

Однако, отступая на эти орудия, стрелки батальона Гарнье отбивались очень упорно: они не хотели поверить, что дело проиграно; они ожидали напора всей своей дивизии в сделанный ими пролом...

Двое стрелков вздумали даже взорвать пороховой погреб, мимо которого шли отступая. Они вырвали из рук убитого матроса курившийся пальник и бросились с ним к погребу, но за ними бежал рядовой Музыченко, якутец.

— Эге, гадюки! — разгадал он их умысел; догнал и заколол обоих.

Притиснутые к брустверу, французы то пытались перелезть через него, то выскакивали в амбразуры, но спастись удалось все-таки немногим. В числе этих немногих был и сам Гарнье, получивший четыре легких раны.

Русские солдаты рвались за ними в поле. Они кричали:

— Айда, ребята! Отберем Камчатку нашу назад! — и прыгали в ров, а потом бежали догонять французов.

По приказу Хрулева горнисты трубили отступление во всю силу легких, но солдат за валом становилось все больше и больше.

Хрулев выходил из себя:

— Притащат на своих плечах французов, э-эх ты, черт!

Подполковник Якутского полка Новашин сам должен был выбежать в поле, чтобы остановить и увести своих солдат в виду французов, готовившихся к новому штурму.

И не один, а два раза еще ходили на штурм французы, но теперь не удалось уже им нигде взобраться на бруствер, а трупы убитых при этих штурмах лежали за валами, в иных местах жуткими грудами — метра в два высотой.

IX

Один капрал из стрелков Гарнье, когда якутцы выбивали французов

из домишек, не замеченный в общей неразберихе боя и в густом пороховом дыму, направился не назад, вместе с отступавшими товарищами своими, а вперед, по Корабельной.

Около церкви Белостокского полка он остановился, бросил совершенно не нужный уже ему штуцер, так как в патронной сумке не осталось ни одного патрона, а штык сломался, сел на паперть, вытер платком трудовой пот и спокойно закурил трубку, хозяйственно оглядываясь по сторонам.

Проезжавший мимо из города на Малахов один из адъютантов Сакена спросил его удивленно:

— Почему вы здесь?

— Поджидаю своих, — невозмутимо ответил капрал.

Адъютант ошеломленно озирался кругом.

— Кого именно «своих»? — пробормотал он.

Капрал охотно разъяснил:

— Да ведь не больше, как через четверть часа нашими войсками будет взят Севастополь, — отчего же мне не подождать их здесь?

Одного раненого молодого офицера подобрали якутцы на батарее Жерве. Подполковник Новашин сказал ему отеческим тоном:

— Потерпите немного, вместе с нашими ранеными вас отправят на перевязочный пункт в город.

Но раненый француз отозвался на это заносчиво:

— Напрасно вы беспокоитесь! Через полчаса город будет в наших руках, и меня перевяжут наши врачи, что будет гораздо лучше!

Этот молодой офицер имел большие основания быть уверенным в победе французов: он оказался племянником самого Пелисье.

Не сомневались и англичане, что наконец-то в день победы при Ватерлоо им удастся занять Большой редан, к чему в сущности и сводились усилия целой Англии за девять месяцев осады Севастополя.

Не суждено было англичанам овладеть с бою этим гордым бастионом, сколь ни громили они его сотнями своих мортир. Но снята была с одного убитого в этот день английского офицера инструкция за подписью генерала Гарвея Джонса, как должны были вести себя королевские войска после занятия редана...

У английских офицеров была традиция торжественно завтракать в

укреплениях, занятых путем штурма. И теперь каждый из них, отправляясь на штурм Большого редана и Пересыпи, тащил в походной сумке заранее приготовленный завтрак, чтобы отпировать на славу...

Не пришлось!.. Как маком краснело развороченное снарядами, изъеденное воронками и волчьими ямами поле перед третьим бастионом, батареей Будищева, батареей Перекомского, — краснело мундирами убитых и тяжело раненных англичан.

Как только Горчаков получил по телеграфу донесение, что на бастионах бьют тревогу, он не мог уже усидеть у себя на Инкермане. Он поскакал с большой, как всегда, свитой к Севастополю.

И здесь, с библиотеки, которая была самой высокой точкой города и которую как бы в знак уважения к ней щадили неприятельские ракеты, ядра и бомбы, главнокомандующий наблюдал, когда стало светлеть небо, за ходом обороны.

Когда на Малаховом кургане, по приказу Хрулева, вспыхнул перед рассветом второй фалшфейер, что означало «прошу подкреплений», Горчакову показалось, что все погибло, что вот-вот конец Малахову и всему делу обороны.

Сам себя перебивая, успел он за несколько минут отдать несколько приказаний и о том, какие полки снять с Городской стороны и перебросить на Корабельную, и о том, какие части из корпуса Липранди с Инкермана переправить в город с наивысшей поспешностью, так как, смотря вперед на Корабельную, он оглядывался и назад, на четвертый и пятый бастионы, а говоря о них Сакену или Коцебу, думал о Черной речке, откуда, не без основания впрочем, тоже ожидал нападения в это утро.

В то же время он все справлялся, не подошли ли первые полки 7-й дивизии, о которой ему было известно уже, что она прошла через Симферополь. Начавшийся бой на бастионах Корабельной принимал в его разгоряченном мозгу огромные всекрымские размеры...

Он успокоился только к семи часам, когда отовсюду с бастионов были получены донесения, что неприятель отбит с огромным для него уроном, не возобновляет штурмов и оттянулся к своим исходным

позициям. Он снял свою фуражку, вздутую, в то же время и смятую, как падающий воздушный шар, и с четырехугольным козырьком, огромным, как зонтик, — несколько раз торжественно перекрестился в сторону восходящего солнца и от избытка охвативших его радостных чувств раскрыл свои широчайшие объятия и Сакену, и Нахимову, и Васильчикову, и прочим, бывшим в то время с ним генералам.

В это время была уже полная тишина; перестрелка совершенно прекратилась по причинам, вполне понятным и той и другой стороне: четвертый акт севастопольской трагедии был сыгран.

Х

Переливисто сверкали на солнце штыки батальонов, двигавшихся по взгорью Северной стороны, направляясь к пристани. Подкрепления эти были вызваны еще на заре Горчаковым, и их деятельно перевозили потом через Большой рейд в город пароходы и баркасы, но в них уже не было теперь нужды: «пушка его величества» как умолкла, сконфуженная неудачей, так и продолжала молчать не менее трех часов подряд.

Поражение интервентов, совершенно для них неожиданное, было настолько полным, что стало как-то совсем не до стрельбы, теперь уже бесцельной. Раны оказались слишком глубоки; расстройство дивизий, ходивших на штурм, невиданное, особенно у французов; подсчет потерь, как и язык донесений, затруднителен до крайности; обманутые надежды и Наполеона и Виктории угнетали Пелисье и Раглана.

Но зато единодушно был найден виновник поражения в лице генерала Мейрана. Это ему вздумалось начать атаку на десять минут раньше, чем был дан настоящий сигнал, то есть не одной ракетой со звездами, а целым снопом таких ракет. За эти же десять минут русские будто бы успели приготовиться и стянуть большие силы на прочие свои бастионы.

Мейран ничего, конечно, не мог сказать в свое оправдание, так как был мертв: в этом случае живые генералы действовали безошибочно. Шестьдесят две тысячи снарядов было выпущено союзниками за одни только сутки подготовки к штурму, на что защитники Севастополя не

могли ответить и двумя десятками тысяч. Эта ужасная бомбардировка, от которой некуда было укрыть войска, собранные в городе в предчувствии штурма, вырвала из их рядов свыше четырех тысяч жертв; потери же в утро штурма были сравнительно с этим невелики.

Но штурм союзникам стоил до восьми тысяч человек, причем потери французов превосходили потери англичан больше чем втрое.

Из генералов союзников, кроме трех убитых, пятеро было ранено.

Осторожные Канробер и Ниэль получали право считать себя более предусмотрительными, чем пылкий Пелисье, а французский Ахилл — Боске — мог не завидовать лаврам, выпавшим на долю его заместителя с очень длинной фамилией.

Телеграмму-реляцию о неудавшемся штурме Пелисье все же задерживать не мог, и когда была она прочитана в сенклюдском дворце, возмущенный Наполеон ответил главнокомандующему своими войсками письмом, полным самой резкой критики всех его действий.

«Я признаю в вас много энергии, — так заканчивалось это письмо, — однако руководить надобно хорошо. Немедленно представьте военному министру свой план действий в подробностях и не смейте с этого дня предпринимать решительно ничего, не испросив на то согласия по телеграфу. Если же вы на это не согласны, то сдайте командование армией генералу Ниэлю».

После такого письма императора Пелисье, кажется, не оставалось ничего больше, как проститься с армией и Крымом; но он решил иначе: он проглотил обиду и остался; а военный министр, маршал Вальян, и генерал Флери, мнение которого ценил Наполеон, заступились за Пелисье. Они нашли для него смягчающее вину обстоятельство в известном упорстве русских солдат, которых, по крылатому слову Фридриха II^{103}, мало было убить, а надо было еще после того и повалить на землю.

Штурм 6/18 июня был отбит блестяще, и в историю обороны русской земли от покушения интервентов вписана была севастопольцами славная страница; но половину потерь союзников составляли убитые, которых нужно было убрать.

Корреспондент газеты «Таймс» писал об этом страшном зрелище нелюбопытно:

«Наши бедные красные мундиры устилали землю перед засеками редана, тогда как все подступы к Малаховой башне были покрыты голубыми мундирами, лежавшими более в кучах, чем разбросанно».

Ночью с 7 на 8 июня канонада со стороны интервентов повторилась было с прежней силой, но через час стихла. Это походило на жест отчаяния. Так буйн, выброшенный вон из дома, отводит душу на том, что начинает издали бросать в окна камнями.

С утра до полудня тянулась обычная «дежурная» перестрелка, а после полудня были выкинута белые флаги, — французами на Камчатке, англичанами — против третьего бастиона, — и явились парламентареры просить о перемирии для уборки трупов.

Перемирие, конечно, было дано. Установили цепи солдат с той и с другой стороны, — шагов пятьдесят между цепями, шагов десять между солдатами в цепи, — подъехали привычные к перевозке тел русские фурштаты на своих тройках, нагружали трупы французов и отвозили их к бывшей Камчатке, которая называлась у французов редутом Бриссона, по имени полковника, убитого здесь при ее захвате.

Сердитого вида крикливый французский генерал верхом на прекрасном арабском коне, отвалившись в седле и выставив ноги вперед, появлялся иногда посредине цепей, сумрачно наблюдая за порядком. Ему помогал траншей-майор тоже верхом и почему-то с палкой в руке. Впрочем, палки вместо ружей были и у французских солдат в цепи.

И офицеры и солдаты-французы были теперь мрачны — совсем не то, что десять дней назад на подобном же перемирии. Появилась было с их стороны амазонка, но всего только одна, и что-то быстро исчезла.

Большое оживление среди французов началось только тогда, когда к цепи вздумалось подъехать Хрулеву на своем заколдованном белом коне. Оказалось, что многие французы знали его даже по фамилии; на него показывали один другому, на него смотрели во все глаза.

Увидя себя предметом такого чрезмерного внимания, Хрулев ускакал, как и застыдившаяся французская амазонка.

А трупы несли на носилках и везли со стороны русских бастионов к французам, пока не начало опускаться солнце.. Взглянув на его диск,

подошедший близко к горизонту, сердитый французский генерал заявил русскому, подъехав:

— Я больше не приму ни одного тела! Сейчас я прикажу трубить отбой и опустить флаг.

— Хорошо, но как же быть с большим еще количеством неубранных тел? — возразил русский генерал.

— Делайте, что вам будет угодно!

Он откланялся вежливо, повернул своего прекраснейшего каракового араба, с тонкими, как у горного оленя, ногами, и отъехал. Русский генерал, сидевший на простом горбоносом дончаке, притом не вытянув ноги вперед, — такое правило было у французских кавалеристов, — а совершенно без всяких правил, мешком, недоумевающе глядел ему вслед.

Солдаты обеих сторон все-таки переговаривались и теперь, по-своему, как глухонемые, хотя это почему-то запрещал своим усатый траншей-майор с палкой.

А к одному артиллерийскому штабс-капитану, стоявшему за русской цепью, подошел молодой и бойкий французский офицер и после первого же, сказанного с очень веселым лицом, комплимента русским артиллеристам, защищавшим таким густым картечным огнем бастионы, вытащил небрежно небольшой театральный бинокль в перламутровой оправе, как бы между прочим, между делом, приставил его к глазам и впился в батарею Жерве.

— Этого не разрешается делать! — строго сказал артиллерист, положив руку на его бинокль.

— Вот как! Но почему же? — как бы удивился бойкий француз. — А у нас никто не запрещает осматривать укрепления!

— Вам никто не запретит этого и у нас, если вы возьмете наши бастионы, — сказал артиллерист без малейшей тени улыбки, однако непримиримо, несмотря на час перемирия.

Француз спрятал бинокль, достал свою визитную карточку и протянул артиллеристу, но тот не взял ее.

И этот жест и явная брезгливость, сквозившая в чертах лица несколько усталого, но совершенно спокойного не только за себя, но как бы и за Севастополь тоже, русского артиллериста отрезвляюще

подействовали на бойкого француза. Он померк и отошел к своей цепи.

Артиллерийский штабс-капитан этот был Хлапонин.

1938 г.